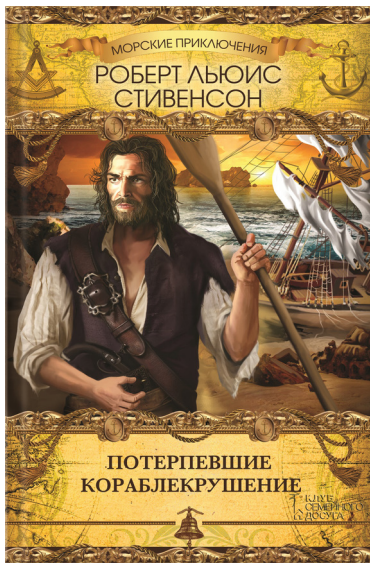




Роберт Льюис Стивенсон

Потерпевшие кораблекрушение

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11642018

Потерпевшие кораблекрушение: роман / Роберт Льюис Стивенсон: Клуб Семейного Досуга;

Харьков; 2015

ISBN 9789661494830

Аннотация

История жизни Лаудена Додда, сперва скульптора-неудачника, затем энергичного предпринимателя, человека, который умеет со всеми поддерживать хорошие отношения. Однажды Додд и его компаньон Пинкертон за огромные деньги приобретают севший на мель бриг, предполагая, что на нём спрятан опиум. Но оказывается, с крушением корабля связаны события более загадочные, чем обычная контрабанда.

Содержание

Территория реванша	5
Пролог	7
Рассказ Лаудена	14
II	21
III	27
IV	36
V	43
VI	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Роберт Льюис Стивенсон

Потерпевшие кораблекрушение

© DepositPhotos.com / Maugli, Iurii, обложка, 2015

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015

* * *

Территория реванша

Роберт Льюис Стивенсон позаботился о тех, кто будет писать предисловия к «Потерпевшим кораблекрушение». В последней главе он все объяснил сам. Перед нами – смелая попытка совместить диккенсовский «роман нравов» с «полицейским романом».

Подобная творческая задача заставила Стивенсона написать чуть ли не беллетризованную автобиографию длиной в жизнь.

Начинается повествование, как и положено, на островах в Тихом океане, где нашел покой неистовый путешественник Стивенсон, написавший тома интереснейших путевых заметок (хочется иногда его назвать первым автором модных сейчас тревелогов, но вовремя вспоминаешь о Марко Поло)...

Вымышленный американский штат на атлантическом побережье представлен сенаторами и биржевыми дельцами. Туманная Шотландия – упорными застройщиками. Англия – дворянскими замками и чопорными лордами. Париж и окрестности – живописными мансардами голодных художников. Причем герою приходится голодать и напоказ, чтобы не выделяться из артистического сообщества, и на самом деле, после банкротства отца на бирже. И это очень разный голод. И оба его вида хорошо знакомы самому Стивенсону.

В этой книге все время думают, как заработать денег, сколотить капитал, пустить в оборот, прирастить, как не потерять нажитого непосильным трудом – и всегда тщетно. Хотя более симпатичных и энергичных предпринимателей, дельцов, проходимцев и банкротов, чем у Стивенсона, поди еще поищи. Разве что у О. Генри. Но точно не у Маркса. И все же их жажда наживы – это фата-моргана. Большого количества банкротств, фиаско и даже настоящих кораблекрушений, чем на страницах этого романа, наверное, не было в мировой литературе. Но герои Стивенсона всегда восстают из пепла, как птица Феникс, – и снова попадают в затруднения...

В действие оказываются вовлеченными еще молодой, но уже стильный Сан-Франциско, Восточное побережье Австралии, Сидней, Индонезия, Полинезия и Микронезия. Просто тебе роман на глобусе. И во всех локациях, в которых протекает эта запутанная история, Роберт Льюис Стивенсон побывал собственной персоной, а не так, как Жюль Верн, – силой воображения, географических справочников и адмиралтейских карт. В каком-то смысле этот роман – итог многолетних странствий. Стивенсон был неизлечимо болен, искал спасения в райском климате островов Самоа. Роман записывал под диктовку, а некоторые главы – и по своему разумению его повзрослевший пасынок Ллойд Осборн. Именно для этого мальчика в свое время был написан «Остров сокровищ». Ллойд болел, и отчим за день писал новую главу своей пиратской истории, чтобы уже вечером читать пасынку вслух перед сном. Недаром его прозвищем среди аборигенов Самоа позже стало Туситала – Сказочник.

Кстати, фабулы, центральные события «Потерпевших кораблекрушение» и «Острова сокровищ» достаточно похожи. В обоих романах есть острова и путешествие в поисках капитала несправедного происхождения. Пиратского клада в одном случае и китайской контрабанды – в другом. И в обоих случаях море – это территория реванша. Вернее – акватория. *Terra* по-латыни – как раз земля. Но когда дела на суше приходят в неописуемый упадок и беспорядок, у настоящих джентльменов всегда есть шанс выйти в море и отыграться. В обеих историях герои ставят на карту все и выигрывают вопреки всему. Для Стивенсона его переезд из старой доброй Европы в бурный молодой Сан-Франциско, а оттуда еще дальше – на затерянные острова в Тихом океане – был таким же отчаянным поступком, как авантюрные экспедиции героев его книг.

Роберт Льюис Белфор Стивенсон родился в шотландской столице Эдинбурге в год написания Мелвиллом «Моби Дика» (1850). О том, что мы недаром упомянули оба события, говорит хотя бы то, что герой «Потерпевших кораблекрушение», прежде чем отправиться к своим контрабандным островам, читает на причале другую книгу Мелвилла – «Ому». Как раз о людоедском архипелаге.

В детстве Роберт Льюис много болел. Пропускал школу, оставался на второй год. Даже читать научился на год или два позже сверстников. Позже книги заменяли ему друзей в дни болезни. Библиотека у отца была хорошая. Зато писать он, видимо для компенсации отставания, стал очень рано. Отец, в свое время избравший семейную профессию в ущерб собственным литературным надеждам, отнесся к творчеству сына серьезно. Первая книга последнего, историческая, была издана в его шестнадцать лет. Просто какой-то украинский «поэт-двухтысячник», впоследствии легко меняющий инженерный факультет на юридический, чтобы ни дня не работать ни адвокатом, ни судьей. Легочная болезнь заставила его искать перемены климата. Он жил на содержании семьи на юге Франции, в Швейцарии, а позже сделал своим домом дорогу. И привычно писал даже в пути. Путешествие к невесте, Фанни Матильде Осборн, в Сан-Франциско, сначала вторым классом на пароходе через Атлантику, а позже – по еще не до конца проложенной железной дороге через весь континент, едва не стоило ему жизни.

В Австралию он также перебрался в поисках подходящего климата и попал там в странное пестрое сообщество прожженных торговцев, которые на свой страх и риск снаряжали авантюрные экспедиции на тихоокеанские острова, как наши доброй памяти «челноки» в Стамбул. Самым ходовым судном в этих коммерческих плаваниях продолжала оставаться легкая в управлении парусная шхуна, что позволяло набирать в экипажи туземцев и всякий деклассированный сброд. И это уже в эпоху трансатлантических и прочих транс-пароходов и вместительных барков-«выжимателей ветра» с десятками парусов и тысячами снастей. Увлечение новыми друзьями и реалиями окончилось путешествием всей семьей на шхуне «Джанет Николь» и покупкой ста шестидесяти гектаров плантации неподалеку от столицы острова Самоа всего за двести долларов. Именно там и был написан-надиктован роман «Потерпевшие кораблекрушение».

Книги Стивенсона были настолько популярны, что ими загрузил свою каюту первый кругосветный мореплаватель-одиночка Джошуа Слокам. Читал их на всем переходе и специально проложил курс своего судна через Самоа, чтобы засвидетельствовать почтение вдове и детям Стивенсона. И получил от миссис Фанни Стивенсон в подарок лоцию Южных морей с пометками Сказочника и напутственными словами: «Я думаю, мой покойный супруг хотел бы, чтобы эта книга досталась моряку».

Но капитан Джошуа Слокам, написавший позже путевую книгу о своем плавании, был старомоден, как моряк, и провинциален, как американец. В Англии же мода на «романы нравов» длиной в жизнь к тому времени сменилась модой на пятисотстраничный «поток сознания» длиной в день. Именно такие книги называли теперь серьезными. И путешествовать не нужно было. Прошелся по Дублину – роман. А захватывающие фабульные произведения Стивенсона заняли место «низкого жанра». На дворе стоял модернизм.

Вирджиния Вулф лично добилась исключения старомодных произведений Стивенсона из школьной программы.

Я нежно преклоняюсь перед Вирджинией Вулф, не прочитав при этом ни одного ее романа, даже «На маяк». А Стивенсона когда-то читал с фонариком под одеялом. В момент смерти развенчанному молодежью «старику» было сорок четыре года.

Антон Санченко

Пролог На Маркизских островах

Это было в один из зимних дней, часа в три пополудни, в Тайоа, столице и главном порте французской колонии на Маркизских островах. Дул свежий ветер, и прибой с ревом набегал на покрытый мелкой галькой берег. Пятидесятитонное военное судно, на котором развевался французский флаг и с помощью которого поддерживалось французское владичество на островах этой каннибальской группы, качало из стороны в сторону – судно это стояло на якоре под Тюремным Холмом. Темные тучи низко нависли над вершинами расположенных амфитеатром гор. Поутру прошел дождь, один из тех страшных тропических ливней, которые напоминают людям о всемирном потопе. Серебристые струйки дождевой воды еще и сейчас сбегали с темных откосов скал.

Но здесь зима – одно название: страшный ливень даже не освежил раскаленной атмосферы, и резкий ветер с моря не оживил истомленных жарою жителей Тайоа.

На самом краю города, в саду своей резиденции за Тюремным Холмом комендант распоряжался какими-то изменениями и улучшениями в цветнике. Так как садовники все до одного были каторжниками, то им ничего более не оставалось, как продолжать беспрекословно работать, несмотря на нестерпимый зной и на то, что все остальные жители города в это время спали или просто отдыхали в тени. Спала туземная царица Ваську в своем причудливо-красивом дворце под сенью развесистых пальм, дремал таитянский миссионер в своей украшенной флагом официальной резиденции, смежили веки торговцы и купцы в своих опустевших лавках; и даже буфетчик в клубе склонил голову на уставленную бутылками стойку под закрепленной на стене большой картой обоих полушарий и морскими картами. На всем протяжении единственной улицы, тянувшейся вдоль берега, с заманчивою тенью пальм, зелеными кустами и кустиками садов, дощатые дома которой все как один были обращены фасадом к морю, вы не встретили бы в эту пору ни одного живого существа. Только на самом краю старой полуразвалившейся дамбы, которая когда-то, в благословенные дни американского возмущения, предназначалась для того, чтобы трещать и завывать под тяжестью хлопковых тюков, сидел на куче мусора человек – знаменитый татуированный белый человек, живая достопримечательность Тайоа.

Широко раскрытые глаза его были устремлены вдаль. Перед ним, постепенно понижаясь, тянулись горы, переходя в скалы и рифы у входа в залив. Вокруг островков, на которых приютились сторожевые посты, пенясь, бурлил прибой, на лазоревом фоне узкой полосы горизонта вырисовывалась вдали, точно призрак, высоко вздымая к небесам свою острую, как шпиль, вершину, гора Уайу. Но человек не видел всей этой знакомой картины – нечто среднее между бдением и дремотой овладело им. В памяти его восставали беспорядочными отрывками картины прошлого: белые и темные лица, капитаны и товарищи, некогда служившие с ним на одном судне, давние плаванья, забытые ландшафты, странные звуки, барабанный бой, сзывавший на людоедский пир. Может быть, вспомнилась ему и та принцесса, ради любви которой он отдал свою кожу в руки татуировщика. И вот теперь сидит он на куче мусора около сваи в гавани Тайоа, являя собой престранную фигуру европейца. Временами врываются в его воспоминания и другие картины более дальнего прошлого, воспоминания детства теснятся перед его мысленным взором, осаждая его разум и дразня родными звуками и напевами: звон соборного колокола в далекой милой Англии, и песня над рекой, и туман над равниной... Далекий родной туман, полный заманчивых, сказочных видений.

Вода в заливе очень глубока не только при входе, но и вплоть до самого берега: любое судно беспрепятственно может войти в него и пройти так близко, что между его скалистым боком и судном можно растереть сухарь.

Татуированный человек сидел и клевал носом, но неожиданно увидел позади западного островка развешивающийся бом-кливер. За верхним парусом последовали два других, и прежде чем татуированный вскочил на ноги, около сторожевого островка появилась шхуна водоизмещением тонн в сотню, идущая посреди залива бейдевинд.

Спящий город разом пробудился и ожил. Туземцы сбегались отовсюду, окликая друг друга магическим словом «эхиппи» – «корабль», царица вышла на веранду своего жилища, заслоняя глаза от солнца рукой, которую можно было смело назвать образцовым произведением искусства татуировки. Комендант, покинув своих подневольных садовников, побежал в кабинет за подозрительной трубой; начальник порта, бывший вместе с тем и смотрителем тюрьмы, поспешно спускался с Тюремного Холма по направлению к гавани. Семнадцать канаков и француз-боцман, составлявшие экипаж военной шхуны, собрались на палубе. Всевозможные иностранцы: англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы и шотландцы – торговцы и клерки, проживающие в Тайоа, – покинув свои места и занятия, собрались, согласно уже укоренившемуся обычаю, на дороге перед зданием клуба.

И так быстро собирался этот десяток-другой европейцев, и так коротки были все расстояния Тайоа, что все они уже были в сборе и обменивались догадками и предположениями относительно вновь прибывшего судна прежде, чем последнее успело повернуться другим бортом и стать на якорь в указанном месте.

– Джон Буль! – воскликнул один старый моряк, погубивший на своем веку не одно судно англичан.

– Держу пари, что это американская яхта! – возразил шотландец-инженер.

– По вашему, это яхта?! – воскликнул уроженец Глазго. – Ну, поздравляю!

– *Bonjour, mon prince!* – обернулся благообразнейшего вида немец к темнолицему красивому туземцу с умным и полным достоинства лицом, проезжавшему мимо на породистом караковом коне. – *Vous allez boire un verre de bière?*¹

Но князь Станислас Моанатини, единственное разумно занятое существо на всем острове, упрямо стремился в горы, чтобы осмотреть обвал на горной дороге. Солнце уже начало спускаться – пройдет совсем немного времени и окончательно стемнеет, и если он хотел избежать мрака и охотников джунглей, то ему приходилось волей-неволей отказаться от любезного приглашения и спешить по своим делам. Таков был ответ князя.

– Вы правы, князь, – вмешался глазговец, – кроме того, и пива нет! В клубе всего восемь бутылок осталось, а правила гостеприимства требуют, чтобы мы, местные жители, предоставили их приезжим!

– А вот и Хевенс! – крикнул кто-то, приветствуя новое лицо. – Что вы думаете насчет этого судна, Хевенс?

– Ничего не думаю, я все уже знаю о нем! – отвечал высокий, стройный блондин с нежным, как у девушки, цветом лица и спокойной холодностью манер, типичный молодой англичанин, безупречно одетый, с сигарой в зубах. – Мне сообщили о его прибытии из Окленда от Доналда и Эденбачоу, и я как раз направляюсь туда, на это самое судно!

Он безмятежно продолжал свой путь и скоро уселся в шлюпку, которой управляли суетливые канаки. Он осторожно уселся, чтобы как-нибудь не запачкаться, и, отдавая приказание таким голосом, как будто сидел за обеденным столом, понесся к шхуне.

Капитан – старый опытный моряк – встретил его у трапа.

– Меня о вас известили! – сказал вновь прибывший. – Рекомендуюсь: Хевенс!

¹ Здравствуйте, князь! Выпьем стакан пива? (*фр.*)

– Совершенно верно, – отвечал капитан, пожимая гостью руку. – Пожалуйте вниз; там вы повидаетесь с владельцем судна, мистером Доддом. Только осторожнее, у нас недавно красили!

Хевенс направился к лесенке, ведущей в главную каюту, и минуту спустя был уже внизу.

– Мистер Додд, если не ошибаюсь? – проговорил он, обращаясь к небольшого роста бородатому господину, писавшему у стола. – Да неужели это сам Лауден Додд?

– Он самый, мой милейший, – ответил мистер Додд, живо и с самым дружественным чувством вскакивая с места. – Прочитав ваше имя на документах, я наполовину надеялся, что увижу именно вас... Так и есть, все тот же невозмутимо спокойный, свежий, как купидон, белый и румяный британец!

– Увы, я не могу ответить вам тем же: вы сами за это время стали еще британистее! – отвечал Хевенс.

– Могу вас уверить, что я нисколько не изменился; тот красный лоскуток, что вы видели там, наверху, на флагштоке, не мой флаг; это флаг моего компаньона. Он не умер, а только спит! – добавил бородатый весельчак, кивнув головой в сторону одного из бюстов, служивших, в числе других, украшением этой необычайной каюты.

– Прекрасный бюст, – сказал Хевенс, посмотрев в указанном направлении, – и весьма красивый господин!

– Да, он красивый и славный парень, – заметил Додд. – В настоящее время он вывозит меня на своих плечах. Все это его деньги, а не мои!

– Как видно, он не особенно в них нуждается! – заметил Хевенс, обводя глазами роскошное убранство каюты.

– Да, его деньги, но мой вкус. Вот эта этажерка черного ореха – старинная, английская. Книжки все мои, а этажерка во вкусе французского ренессанса. На эту вещь у нас все заглядываются. Зеркала – настоящие венецианские; вон там, в углу, превосходное зеркало. Эта мазня красками – и его, и моя, а этюды – мои.

– Какие этюды? – переспросил Хевенс.

– Да вот эти, из бронзы, – сказал Додд. – Ведь я начал жизнь скульптором!

– Помню, вы как-то говорили об этом, кроме того, вы, кажется, упоминали, что были заинтересованы в золотых приисках Калифорнии?

– Что вы, милый друг! Я лишь слегка прикоснулся к этому делу, но отнюдь не заинтересован в нем; я родился художником и никогда ничем, кроме искусства, не интересовался!

– Судно ваше застраховано? – деловито осведомился Хевенс.

– Да, во Фриско есть такой сумасшедший, который не только соглашается нас страховать, но еще набрасывается на эту наживу, как голодный волк на добычу. Поверьте же, мы сведем с ним когда-нибудь счеты, и тогда он не возрадуется!

– Надеюсь, что груз у вас в должном порядке? – снова заметил молодой англичанин.

– Да, полагаю, что все благополучно, – небрежно ответил Додд, – хотите взглянуть на бумаги и документы?

– Мы успеем сделать это и завтра, – проговорил Хевенс, – а сейчас вас ожидают в клубе. *C'est l'heure de l'absinthe*². Ну а затем вы, Лауден, конечно, отобедаете со мной?

Додд выразил свое согласие. Он не без некоторого затруднения напялил свой белый сюртук, привел в порядок усы и бороду перед венецианским зеркалом, взял широкополую шляпу и поднялся на палубу.

Кормовая шлюпка уже ждала его, стоя вдоль судна. Это было изящное суденышко с мягкими сиденьями и полированными деревянными частями.

² Теперь время пропустить рюмочку полынной (*фр.*).

– Садитесь на руль, – сказал Лауден. – Вы лучше знаете место, где высадиться.

– Я не люблю править рулем на чужой лодке, – возразил Хевенс.

– Ничего, беритесь-ка за румпель, – спокойно сказал Лауден, усаживаясь.

– Я положительно не понимаю, как может это судно окупать себя! – заметил Хевенс. –

Начнем с того, что оно слишком велико и громоздко для торгового судна, кроме того, обставлено слишком большой и бесполезной роскошью в отделке и обстановке!

– Насколько мне известно, оно не окупает себя. Я, как вы знаете, никогда ведь не был деловым человеком, – отвечал Лауден, – но мой компаньон, по-видимому, счастлив и доволен, а ведь деньги его, а не мои, как я уже говорил вам, я же только вношу деловые привычки в наш обиход.

– Вам больше нравится каюта да койка, правда? – пошутил Хевенс.

– Да, – ответил Лауден. – Это нехорошо, но это правда, что я больше люблю каюту.

Не успели они еще пристать к берегу, как солнце уже зашло. На военном судне у Тюремного Холма прогремела вестовая пушка, возвещавшая закат, и флаг спустили.

Когда Хевенс и Додд взошли на пристань, сумерки начинали уже сгущаться, и «Cercle International» – таково было официальное многозначительное название клуба – уже осветился из-под своей низкой широкой террасы множеством огней. Наступало лучшее время дня: противная, ядовитая нукагивская муха понемногу сбавляла свою назойливость; потянуло прохладным вечерним ветерком; клубные посетители собирались в компанию провести вместе «час абсента».

Лауден Додд был представлен по порядку всем присутствующим, начиная с самого коменданта и его партнера, с которым тот в данный момент играл на бильярде: крупного торговца с ближайшего острова, почетного члена клуба, некогда бывшего корабельным плотником на американском военном судне, и кончая доктором порта, жандармским бригадиром, плантатором опиума и всеми белыми, которых торговля, случай, кораблекрушение или дезертирство занесли в Тайоа.

Каждый из членов местного «клуба» отнесся к нему с отменной любезностью, потому что он обладал располагающей внешностью, мягкими манерами, редкой общительностью и свободно изъяснялся по-французски и по-английски. Теперь он, имея под рукой одну из оставшихся в клубе последних восьми бутылок пива, сидел за столом на веранде, представляя собой центр сплотившейся вокруг него оживленной группы.

В южных морях все разговоры неизбежно сводятся к одному и тому же: как ни велик океан, а в сущности, это очень тесный мир с очень ограниченными интересами, а потому, о чем бы здесь ни говорили, всегда в конце концов заговорят о Болли Хейсе, морском герое, подвиги и заслуженный конец которого не взволновали общество Европы, но прогремели в этих южных водах. Правда, заговорят и о торговле, о хлопке, о полипах, но только мимоходом. Во все время разговора будут слышаться названия судов и имена их капитанов, будут обсуждаться крушения и гибель каждого корабля в подробностях. Подробности кораблекрушений будут охотно обсуждаться и оспариваться. Новый человек найдет такой разговор не особенно блестящим. Но он скоро войдет во вкус. Протаскавшись с год по островам, увидав и узнав порядочное число шхун, услышав множество повествований о подвигах капитанов во вкусе мистера Хейса по части контрабанды, крушений, злостных аварий, пиратства, торговли и других родственных с перечисленными сферах человеческой деятельности, новичок убедится в конце концов, что Полинезия несколько не уступит в смысле интереса и поучительности ни Лондону, ни Парижу.

Лауден Додд, хотя и был новичком на Маркизских островах, но знал почти все суда и всех капитанов в этих водах, так как был старый и опытный торговец, и весь купеческий флот был ему знаком, как свой карман. В других местах, на других островах он был свидетелем начала карьеры, окончившейся здесь, или видел развязку тех событий и приключений,

которые начались на Маркизских островах. В числе таких событий, о которых мог сообщить Лауден Додд, между прочим, было и кораблекрушение.

– «Джон Т. Ричардс», как видите, не избежала участи остальных шхун южных остров, Дикинсон подобрал ее близ острова Пальмерстона, – заявил Додд.

– А кто был владельцем этой шхуны?

– Ну, как всегда, «Капсикум и Ко».

Слушатели обменялись между собой улыбками и кивками людей, понимающих, в чем дело. Лауден, кажется, удачно выразил общее настроение следующим замечанием:

– Говорят, это вышло удачное дело. Нет ничего лучше доброй шхуны, бывалого капитана да удачно выбранной подводной скалы.

– Да, дело хорошее, как бы не так! – возразил глазговский голос. – А по-моему, лучше всех дела ведут миссионеры.

– Ну, не говорите! Опиум тоже дело хорошее!

– А то вот еще набег на заповедные острова с жемчужными устрицами, – проговорил третий голос. – Так, примерно на четвертый год запрета, сделал набег на лагуну, да и наутек, прежде чем увидят французы.

– Кароший тело польшой заморodka золот, – сказал свое мнение немец.

– И в потерпевших крушение судах тоже может случиться немалая нажива, – заявил Хевенс. – Вспомните того парня из Гонолулу и судно, что выбросило на берег на рифы у Вай-кики. Дул крепкий ветер и начал трепать судно о рифы, как только оно их коснулось. Агент Ллойда продал его всего за час. Не успело стемнеть, как судно уже было разметано в щепки, а человек, который его купил, разбогател, бросил дела, а потом выстроил себе дом на Бретанской улице и назвал его именем того судна.

– Да, на потерпевших крушение судах можно иногда нажить хорошие деньги! – проговорил глазговец. – Но не всегда!

– Вообще, – сказал Хевенс, – на всем теперь трудно много нажить, всюду дела чертовски плохи.

– Мне кажется, что это несомненный факт, я лично желал бы узнать секрет, где скрывается действительно богатый человек, прибрать этого человека в свои руки и заставить его во всем сознаться, – говорил господин из Глазго. – Вся беда в том, что здесь, в этих южных морях, никогда не узнаешь такого секрета, это надо искать в Лондоне или Париже.

– Мак-Гиббон, должно быть, вычитал об этом из какого-нибудь дешевого романа, – заметил один из завсегдатаев клуба.

– Из «Авроры Флойд», – отозвался другой.

– А если бы и так? – горячился Мак-Гиббон. – Ведь это верное дело! Почитайте в газетах! Вы ничего не знаете, оттого и зубоскалите. А я вам говорю, что это будет почище страховки, да и честнее.

Резкость последних замечаний побудила Лаудена, человека миролюбивого, вмешаться в разговор.

– Что касается меня, – заявил Лауден Додд, – то я испробовал почти все эти способы обогащения и, как ни странно...

– Как, вы находить золотой заморodka? – спросил с интересом немец.

– Нет, я был поочередно всякого рода безумцем, – ответил Лауден, – но по части золотискательства неповинен. У каждого человека найдется здоровый участок мозга.

– Ну а промышляли вы когда-нибудь опиумом?

– Опиумом? Да, промышлял.

– И что же? Выгодное это дело?

– Да, пожаловаться не могу.

– Вы, быть может, покупали когда-нибудь затонувшие или потерпевшие крушение суда?

– Было и это, покупал! – отвечал Лауден.

– Ну а из этого что у вас вышло? – продолжали его расспрашивать один за другим присутствующие.

– Со мной был совершенно исключительный случай: я купил особого рода погибшее судно и, право, не знаю, могу ли кому посоветовать этот род заработка.

– Разве оно развалилось прежде, чем вы успели чем-либо воспользоваться? – спросил кто-то.

– Нет, скорее развалился я сам! – сказал Лауден Додд. – Голова у меня, видите ли, недостаточно хороша для таких дел.

– Ну а пробовали вы выманить деньги под угрозой открытия тайны? – осведомился Хевенс.

– Так же просто, как выпить стакан воды.

– Выгодное дело?

– Хм! Я, как видите, несчастливый человек, неудачник, по всей вероятности, но это дело могло бы быть очень выгодным!

– Вы обладали тайной? – спросил глазговец.

– Да, такой громадной, как штат Техас!

– А человек этот был богат?

– Нельзя сказать, чтобы он был второй Гулд, но все же, я полагаю, он мог бы скупить весь этот остров со всем, что на нем есть, если бы захотел!

– В таком случае, за чем же дело стало? Или вы не могли забрать его в руки?

– Не сразу, но в конце концов я согнул его в бараний рог, припер его к стене!

– Так что же?

– А то, что вся моя спекуляция перевернулась вверх дном, все мои расчеты рухнули, и я стал закадычным другом этого человека.

– Эх, черт возьми! Зачем же вы это сделали?

– Вы, вероятно, хотели сказать, что он не мог быть слишком разборчив в данном случае, но, право, вы ошибаетесь, это просто человек с любящим сердцем.

– Когда вы кончите болтать всякий вздор, Лауден, – проговорил Хевенс, – пойдемте ко мне: нас ждет обед.

Додд поднялся и стал прощаться.

За стенами клуба во мраке ревел прибой. В темной чаще кое-где мерцали огоньки. Мимо по двое и по трое проходили островитянки, кокетливо улыбаясь и снова исчезали во мгле, а в воздухе еще долго держался запах пальмового масла и цветов франжипани.

От клуба до дома Хевенса было рукой подать, но для европейца этот переход показался бы вступлением в какую-то волшебную страну. Если бы такой человек последовал за нашими двумя друзьями в этот дом с просторной верандой, уселся бы вместе с ними в прохладной комнате, где на столе, покрытом скатертью, сверкало вино при ярком свете лампы; если бы он отведал вместе с ними экзотическую пищу: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареную свинину, приправленную неподражаемым мити и царем тонкой снеди – салатом из капустной пальмы; если бы он видел и слышал временами фигуры и шаги хорошеньких туземных молодых женщин, то появляющихся в дверях, то исчезающих, казавшихся слишком скромными, чтобы принять их за членов семьи, и слишком гордыми, чтобы принять их за прислугу, – и если бы после того он вновь внезапно перенесся к себе домой, к собственному домашнему очагу, он, наверное, протер бы глаза и сказал бы: «Все это мне приснилось. Я видел во сне, что был где-то в доме, но только в таком доме, который похож на небо».

Они набросились на еду, как люди, порядком проголодавшиеся, и разговор завязался отрывистый, небрежный, как между людьми, которые чувствуют себя утомленными. Вскоре разговор коснулся беседы в клубе.

– Я никогда не слышал, чтобы вы говорили столько глупостей, как сегодня, Лауден! – заметил между прочим хозяин дома.

– Мне показалось, что в воздухе ужасно пахло порохом, и я говорил, собственно, для того, чтобы говорить что-нибудь. При этом, однако, это были вовсе не глупости!

– Да неужели вы хотите мне сказать, что это правда? – воскликнул Хевенс. – Правда, что вы промышляли опиумом, что вы скупали погибшее судно, что вы шантажировали, и, наконец, человек этот стал вашим другом?

– Каждое слово правда!

– Вы, как я вижу, повидали виды!

– Да, это странная история, если хотите, я, пожалуй, расскажу все, как было!

Далее следует повесть о жизни Лаудена Додда, но не так, как он поведал ее своему другу, а так, как тот впоследствии записал ее.

Рассказ Лаудена

I

Изрядное коммерческое образование

Исходной точкой этой истории был характер моего бедного отца. Никогда еще не было человека лучше и прекраснее его, но и никогда не было, по-моему, более несчастливого человека – несчастливый в своих делах, в своих развлечениях, в выборе места жительства и – нечего делать, надо и об этом сказать, – в своем сыне. Свою карьеру он начал землемером, но вскоре стал землевладельцем, затем часто увлекался всевозможными спекуляциями и имел репутацию красивейшего мужчины в целом штате Маскегон³. Люди говорили о нем: «Додд – умная голова», но я, говоря по чести, никогда не верил в его особые способности. Ему, без сомнения, долго везло: усердие же никогда ему не изменяло. Он вел свою повседневную борьбу за приобретение денег с неизменной честностью, словно какой-то мученик. Он рано вставал, наскоро закусывал, возвращался домой весь усталый и измотанный, даже в случае удачи. Он отказывал себе во всяких развлечениях, и, казалось, его натура была чужда им, что временами даже поражало меня. Он вкладывал всю свою удивительную добросовестность и бескорыстие в такие дела и предприятия, которые по своей сути мало чем отличались от грабежа на большой дороге.

Временами я все это видел и понимал, но не говорил ему из боязни разочаровать и огорчить; к тому же сам решительно ничем, кроме искусства, не интересовался и не буду никогда интересоваться. Я того мнения, что главная цель человека – подарить миру какое-нибудь произведение высшей красоты, самому понимать и чувствовать во всем эту вечную красоту и при этом по возможности жить припеваючи. Об этом последнем я, конечно, не упоминал никогда при отце, но, вероятно, он угадал мою сокровенную мысль, которую я одну только и осуществил в своей жизни, – так как постоянно называл мое призвание и мою любовь к искусству «самоублажением», а не делом и не честным трудом.

– Ну а что такое ваша жизнь?! – воскликнул я однажды. – Вы выбиваетесь из сил и отравляете себе каждую минуту, стараясь заработать от других людей деньги, нажить на чем можно. Разве это завидная доля?

Он только горестно вздохнул, что вообще делал часто, и печально покачал головой.

– Ах, Лауден, Лауден, – сказал он, – вы, молодые люди, всегда воображаете себя умнее и смысленнее нас, но поверь мне: как ни вертись, что ни придумывай, а человеку в этом мире ничто даром не дается, и потому он постоянно должен работать, чтобы заработать что-нибудь. Он должен быть или честным человеком, или вором, но и так, и этак надо работать!

Толковать или спорить с отцом было совершенно бесполезно, тем более что всякий раз после таких разговоров я испытывал угрызения совести. Я иногда горячился, а он был неизменно кроток и мягок; кроме того, я отстаивал только свою свободу действий, отстаивал то, что мне нравилось; он же стоял только за то, что, по его мнению, было моим благом, моим счастьем в будущем. Несмотря ни на что, он никогда не отчаивался во мне.

– В тебе хорошие задатки, Лауден, кроме того, кровь всегда сказывается. И верно, что из тебя выйдет хороший и честный человек, но мне больно, что ты иногда говоришь такие неразумные вещи, такие глупости! – И при этом он любовно трепал меня по плечу с чисто материнской лаской, что было как-то особенно трогательно со стороны такого сильного, рослого красавца, каким был мой отец.

³ Название вымышленное. Такого штата в Северной Америке не существует. (Примеч. авт.)

Как только я успел получить общее образование, отец тотчас же заставил меня поступить в Маскегонскую Коммерческую Академию. Вы иностранец, и вам трудно будет понять реальность такого учебного заведения. Но уверяю вас, что я говорю вполне серьезно. Такое учебное заведение действительно существовало, быть может, оно и теперь еще существует. Наш штат очень гордился этой академией как чем-то совершенно исключительным, чем-то совершенно во вкусе девятнадцатого века, и я уверен, что отец, сажая меня в вагон, был искренне убежден, что, отправляя меня в это учебное заведение, он ставит меня на прямую дорогу по меньшей мере в президенты.

— Лауден, — говорил он мне, — я предоставляю тебе теперь такой случай, какого не мог бы доставить своему сыну сам Юлий Цезарь, — случай ознакомиться с жизнью, такую, как она есть на самом деле, ранее, чем тебе придется в действительности вступить в эту жизнь. Эта школа может служить превосходною подготовкой к дальнейшей твоей деятельности в жизни. Избегай необдуманных спекуляций, старайся держать себя и вести себя как настоящий джентльмен и, если хочешь принять мой совет, придержишься надежных, солидных железнодорожных предприятий. Хлебные операции очень заманчивы, я не спорю, но вместе с тем и очень рискованны. Но ты, конечно, можешь смотреть на дело несколько иначе; главное, веди аккуратно свои книги и никогда не рискуй верным, чтобы приобрести нечто умозрительное. Ну а теперь обними меня, мой мальчик, и помни, что ты — единственный мой птенец и что отец твой всегда с напряженным вниманием будет следить за каждым твоим шагом на пути твоей новой карьеры!

Эта высшая коммерческая школа представляла собою прекраснейшее здание с отличным местоположением, чудным парком и лесом, большими высокими валами, превосходным помещением для учащихся, превосходным столом и всеми удобствами, в том числе с телеграфным и телефонным сообщением «со всеми главными центрами мира», как торжественно гласили проспекты, с богатой библиотекой и читальней, где имелись все торговые газеты. Разговоры велись здесь по преимуществу чисто коммерческие, и учащаяся молодежь занималась главным образом тем, что надувала или старалась надуть друг друга во всевозможных мнимых операциях, совершавшихся на мнимые деньги, так называемые «деньги Коммерческой Академии», нечто вроде игральных марок. Так как никто из нас не имел ни одного куля зерна и ни одного доллара наличными деньгами, а главное, занятия в школе состояли в самой азартной биржевой игре, воспроизводимой здесь с поразительной наглядностью, то самая биржевая игра наша обуславливалась и велась сообразно состоянию настоящей биржи и крупных торговых рынков, и мы имели удовольствие испытывать все колебания, повышения и понижения курсов на различные бумаги, как заправские биржевые деятели. Правда, были у нас и часы классных занятий, во время которых нам преподавались двойная и тройная бухгалтерия и другие коммерческие науки, но на это, в сущности, обращалось очень мало внимания. Мы вели книги, которые просматривались в конце каждого месяца директором или одним из субдиректоров, и в эти книги заносились наши счета, наши операции и т. д. Для пущей правдоподобности наши «академические деньги» имели настоящую стоимость в 1 цент за доллар, и по окончании образования каждый мог реализовать имевшиеся у него «академические деньги», и даже во время пребывания своего в стенах заведения какой-нибудь внезапно разбогатевший благодаря удачным операциям счастливчик мог реализовать, по желанию, часть своих мнимых капиталов, чтобы устроить веселый ужин в соседнем селении. Короче говоря, если можно себе представить худшее воспитание, так разве только в той академии, где Оливер Твист встретился с Чарли Бейтсом.

Когда меня в первый раз привели на биржу и один из учителей поместил меня за конторкой, я был прямо ошеломлен царящими там смятением, шумом и гамом.

В глубине зала виднелись черные доски со столбцами все время меняющихся цифр. После каждого изменения студенты толпой бросались к доскам и начинали во весь голос

вопить какую-то, как мне показалось, абракадабру. Некоторые вскакивали на конторки и скамьи, подавая руками и головами загадочные знаки и что-то быстро отмечая в своих записных книжках. Мне показалось, что неприятней этой сцены я еще ничего в жизни не видывал; а когда я сообразил, что все эти сделки – простая игра и что всех денег, циркулирующих на «академической бирже», не хватит и на покупку пары коньков, то почувствовал большое изумление, хотя и ненадолго, ибо припомнил, как взрослые и очень богатые люди выходят из себя, проиграв жалкие гроши. Тогда, найдя таким образом оправдание моим соученикам, я изумился поведению преподавателя, который привел меня сюда: забыв показать мне мою конторку, он, бедняга, стоял среди этой суматохи как замороженный – казалось, цифры на досках всецело завладели его вниманием.

– Глядите, глядите, – завопил он мне в ухо, – курсы падают! Рынком со вчерашнего дня завладели «медведи».

– Ну и что же? – ответил я, с трудом перекрикивая шум (я еще не научился разговаривать в подобной обстановке). – Это же все понарошку.

– Да, конечно, – ответил он, – и вы должны твердо запомнить, что истинную прибыль вы получите, только если будете хорошо вести свои счетные книги. Надеюсь, Додд, мне предстоит только хвалить вас за них. Вы начинаете свою деятельность с весьма приличным капиталом – десять тысяч долларов в «академической валюте». Его, несомненно, хватит вам до конца обучения, если, конечно, вы не будете рисковать и пускаться в сомнительные операции... Постойте, что бы это значило? – перебил он сам себя, когда на досках появились новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам повезло: за весь семестр еще не было такого оживления. И подумать только, что точно то же происходит сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и других соперничающих деловых центрах страны! Эх, я и сам поиграл бы вместе с мальчиками, – добавил он, потирая руки, – да только это не разрешается правилами.

– А что бы вы сделали, сэр? – спросил я.

– Что бы я сделал? – вскричал он, сверкнув глазами. – Покупал бы, пока хватит капитала!

– Это и значит не рисковать и не пускаться в сомнительные операции? – спросил я с самым невинным видом.

Он бросил на меня злобный взгляд, а затем сказал, словно для того, чтобы переменить тему:

– Видите того рыжего юношу в очках? Это Билсон, наш самый блестящий студент. Мы все уверены в его будущем. Берите пример с Билсона, Додд.

Вскоре после этого, пока шум по-прежнему нарастал, цифры на доске появлялись и исчезали все быстрее, а зал сотрясаясь от воплей биржевиков, младший преподаватель покинул меня, указав мне наконец мою конторку. Мой сосед подводил итоги в своей счетной книге – подсчитывал убытки за это утро, как я узнал позднее, – и очень охотно оторвался от этого малоприятного занятия, увидев незнакомое лицо.

– Эй, новичок! – окликнул он меня. – Как вас зовут?.. Что? Ваш отец – Додд «Голова Что Надо»? Сколько у вас капитала? Десять тысяч? Здорово! Ну и дурак же вы, что возитесь со своими книгами!

Я ответил, что не вижу иного выхода, поскольку книги ежемесячно проверяются.

– Эх, разиня! Наймите писца! – крикнул он. – Кого-нибудь из наших банкротов – для этого они здесь и толкуются. Если вы будете удачно играть на бирже, вам в этом колледже работать не придется.

Шум к этому времени стал совсем уже невыносимым, и мой новый друг, сказав, что наверняка кто-то «прогорел», что он пойдет выяснить, в чем дело, и приведет мне писца, застегнул куртку и нырнул в неистовствующую толпу. Его предположение было правильным: кто-то действительно «прогорел», один из королей биржи был низложен – игра

на повышение оказалась для него роковой, – и писец, обязавшийся писать мои книги, избавлять меня от всей работы и получать все причитающееся мне образование за тысячу долларов в месяц в «академической валюте» (десять долларов в валюте США), оказался не кем иным, как знаменитым Билсоном, с которого мне рекомендовали брать пример. Бедняга был очень расстроен. Только за одно могу я похвалить Маскегонскую Коммерческую Академию: все мы, включая даже самую мелкую рыбешку, испытывали глубокий стыд, оказываясь банкротами; ну а такому магнату, как Билсон, который в дни своего процветания столь высоко задирает нос, потерпеть полный крах было особенно тяжело. Но дух серьезного отношения к игре победил даже горечь недавнего поражения, и Билсон приступил к исполнению своих новых обязанностей с надлежащей энергией и деловитостью.

Таковы были мои первые впечатления от этого нелепого учебного заведения, и, говоря откровенно, я скорее назвал бы их приятными. Пока я буду богат, я смогу распоряжаться дневными и вечерними часами по своему вкусу: писец будет вести мои книги, писец будет толкаться и вопить на бирже, а я могу заниматься писанием пейзажей и чтением романов Бальзака – в то время это были два главных моих увлечения. Следовательно, моя задача сводилась к тому, чтобы оставаться богатым, то есть вести дела осмотрительно и не пускаться в рискованные спекуляции, иначе говоря, найти какой-то безопасный способ наживы. Я ишу его до сих пор, и, насколько могу судить, в нашем несовершенном мире ближе всего к нему стоит излюбленная детьми деловая операция, сводящаяся к формуле: «Орел – я выиграл, решка – ты проиграл». Помня напутственные слова моего отца, я робко взялся за железные дороги и около месяца занимал бесславно-надежную позицию, скупая в малых количествах самые устойчивые акции и безропотно (насколько это у меня получалось) снося презрение своего писца. Однажды я в виде опыта решился на более смелый шаг и, не сомневаясь, что акции компании «Пен-Хендл» (если не ошибаюсь) будут падать и дальше, продал этих акций на несколько тысяч. Но не успел я произвести эту сделку, как какие-то идиоты в Нью-Йорке начали играть на повышение, акции «Пен-Хендла» взлетели к потолку, а мое положение оказалось подорванным. Кровь, как и надеялся мой отец, сказала, и я мужественно продолжал вести свою линию: весь день я продавал эти дьявольские акции, и весь день они продолжали повышаться. Как кажется, я (хрупкая скорлупка) попал под носовую волну мощного корабля Джея Гулда – в дальнейшем, насколько помню, оказалось, что это был первый ход в очень крупной биржевой игре. В тот вечер имя Лаудена Додда занимало первое место в газете нашей академии, а мы с Билсоном (снова оказавшимся без места) претендовали на одну и ту же вакансию писца. О ком шумят, того скорей услышат. Мое разорение привлекло ко мне всеобщее внимание, и поэтому место писца получил я. Так что, как вы сейчас убедились, и в Маскегонской Коммерческой Академии можно было кое-чему научиться.

Меня лично совсем не трогало, выиграл я или проиграл в такой сложной и скучной игре, где все зависело только от случайности. Однако писать об этом отцу оказалось тяжелой задачей, и я пустил в ход все свое красноречие. Я доказывал (и это было абсолютной правдой), что студенты, удачно играющие на бирже, не получают никакого образования, и, следовательно, если он хочет, чтобы я чему-нибудь научился, ему следует радоваться моему разорению. Затем я (не очень последовательно) обратился к нему с просьбой снабдить меня новым капиталом, обещая в этом случае иметь дело только с надежными акциями железных дорог. Несколько увлекшись, я заключил свое письмо уверениями, что не гожусь в дельцы, и горячей просьбой забрать меня из этого отвратительного места и отпустить в Париж заниматься искусством. В ответ я получил короткое, ласковое и грустное письмо, в котором он писал только, что до каникул осталось совсем немного, а тогда у нас будет достаточно времени, чтобы все обсудить.

Когда я приехал домой на каникулы, отец встретил меня на дебаркадере железной дороги, и я был поражен, насколько он постарел за это время. Бедняга, однако, не думал ни о чем, кроме того, как бы утешить и успокоить меня и вернуть мне утраченное мною, как он думал, мужество.

– Тебя не должна смущать первая неудача, – говорил он, – многие лучшие люди делали вначале ошибки!

– Но я этого не люблю, – жаловался я. – Эти все дела не имеют для меня ни малейшего интереса, искусство же мне нравится. Я знаю, что в искусстве я пойду гораздо дальше.

При этих моих словах его доброе красивое лицо заметно омрачилось. Я стал уверять, что и в искусстве можно сделать многое, что талантливый художник может тоже зарабатывать, что, например, картины Месонье продаются за громадные суммы.

– И неужели ты думаешь, Лауден, что человек, который может написать картину стоимостью в несколько тысяч долларов, не имеет достаточно ума, чтобы свести концы с концами на торговом рынке? Я уверен, что этот господин Месонье или даже наш американец Бирштадт, посади их завтра в хлебный склад, сумеют там заставить оценить себя. Послушай, Лауден, видит Бог, что я ничего не желаю тебе, кроме добра, мой дорогой мальчик, и я хочу предложить такого рода уговор. В следующем году я снова дам тебе для начала десять тысяч долларов. Постарайся выказать себя на этот раз настоящим деловитым человеком и удвоить эту сумму, и если после того ты все еще будешь желать уехать в Париж – в чем я сильно сомневаюсь, – то я обещаю тебе, что отпущу тебя туда. Но позволять тебе бежать из Коммерческой Академии, точно тебя кнутом оттуда выгнали, из-за того что ты убоялся первой неудачи, я не хочу, для этого я слишком горд!

Когда я это услышал, сердце мое забилося от радости, но тут же меня снова охватило уныние. Ведь, как мне казалось, куда легче было тут же, не сходя с места, написать картину не хуже Месонье, чем заработать десять тысяч долларов на нашей академической бирже. Не мог я также не подивиться столь странному способу проверки, есть ли у человека талант художника. Я даже осмелился выразить свое недоумение вслух.

– Ты забываешь, мой милый, – сказал отец с глубоким вздохом, – что я могу судить только об одном, но не о другом. Будь у тебя даже гений самого Бирштадта, я бы этого не заметил.

– А кроме того, – продолжал я, – это не совсем справедливо. Другим студентам помогают их родные: присылают им телеграммы с указаниями. Вот, например, Джим Костелло: он и шагу не сделает, пока отец из Нью-Йорка не подскажет ему, как поступить. А кроме того, как ты не понимаешь – ведь если кто-то наживает, значит, кому-то нужно разоряться.

– Я буду держать тебя в курсе выгодных сделок, – вскричал мой отец, просяив. – Я не знал, что это разрешается вашими правилами. Я буду посылать тебе телеграммы, зашифрованные нашим коммерческим шифром, и мы устроим нечто вроде фирмы «Лауден Додд и сын», а? – Он похлопал меня по плечу, а затем повторил с нежной улыбкой: – «Додд и сын», «Додд и сын».

Раз мой отец обещал давать мне советы, а Коммерческая Академия становилась преддверием Парижа, я мог с надеждой взирать в будущее. К тому же мысль о нашей «фирме» доставила моему старику такое удовольствие, что он сразу приободрился. И вот, после грустной встречи на вокзале мы сели ужинать, весело улыбаясь и в самом праздничном настроении.

А теперь я должен ввести в мое повествование нового героя, который, не сказав ни слова и даже пальцем не пошевелив, определил всю мою дальнейшую судьбу. Вы, Хевенс, бывали в Соединенных Штатах и, конечно, видели и знаете Маскегонский Капитолий. В то время составлялись еще только различные проекты для этого Капитолия, и мой отец с искренним патриотизмом и надеждой на выгодное коммерческое дело вложил в него поря-

дочную сумму денег, участвовал во всех комиссиях и старался иметь свою долю в каждом из контрактов и подрядов. Прислано было множество планов и проектов, и в ту пору, когда я вернулся из Коммерческой Академии, отец был всецело погружен в это дело и, конечно, не преминул ознакомить и меня с ним. Хотя архитектура была нечто совершенно мало мне знакомое, так как до сих пор я не интересовался этой отраслью искусства и не изучал ее, но дело это пришлось мне по душе, и я весь ушел в отцовскую работу, стал изучать эти планы, ознакомился с ними во всех мельчайших подробностях, сумел уловить их достоинства и недостатки, стал читать специальные книги по этому вопросу, изучил теорию строительного искусства, ознакомился с ценами на строительные материалы, с ценами на рабочие руки – словом, осилил этот вопрос со всех сторон, так что, когда отцу пришлось делать свой доклад, составленный мною, и высказать свое суждение о различных проектах, которое, в сущности, было моим суждением, то доклад его оказался блистательным, и его голос был признан решающим в этом деле. В окончательной обработке плана, которая затем последовала, мое участие было самым широким – я собственноручно разметил все отдельные помещения, и эти разметки имели удачу или заслугу быть принятыми. Энергия и способности, какие я при всем этом выказал, восхищали и удивляли моего отца, и я смело говорю – хотя и должен бы быть скромнее на язык, – что только благодаря моим стараниям Маскегонский Капитолий не сделался бельмом на глазу у всего моего родного штата.

Когда настало время вернуться в Коммерческую Академию, я был в наилучшем расположении духа и с большим горем простился с планами и проектами отечественного Капитолия. Первое время мои биржевые операции были чрезвычайно удачными. Я строго следовал указаниям отца, хотя он и старался скрывать их под разными оговорками. Не прошло и месяца, как я уже собрал семнадцать или восемнадцать тысяч долларов, конечно, нашими «академическими деньгами». И вот со мной случилось несчастье: так как наши деньги имели все же настоящую стоимость одного цента за доллар, то я вздумал реализовать часть моего богатства для покупки некоторых рисовальных принадлежностей. Многие из моих товарищей, игравших неудачно, продавали свои костюмы, книги, нарукавники, словом, все, что имело ценность, чтобы уплатить разницу. А мне понадобилось тридцать долларов, чтобы приобрести принадлежности для занятий живописью: я постоянно уходил в лес писать этюды, и, поскольку мои карманные деньги были израсходованы, в один злосчастный день я реализовал три тысячи в «академической валюте», чтобы купить себе палитру, – благодаря советам моего отца я уже начал смотреть на биржу как на место, где деньги сами плывут тебе в руки.

Палитра прибыла в среду, и я вознесся на седьмое небо. В это время мой отец (сказать «я» значило бы отступить от истины) пытался устроить «двойной опцион» на пшенице между Чикаго и Нью-Йорком – как вам известно, спекуляции такого рода считаются одними из самых рискованных на шахматной доске финансов. В четверг удача повернулась к нему спиной, и к вечеру моя фамилия второй раз красовалась на доске в списке банкротов. Это был тяжелый удар. Надо сказать, что моему отцу в любом случае было бы нелегко его перенести, потому что, как бы ни мучили человека промахи его сына, его собственные промахи мучают его гораздо сильнее. Однако в горькой чаше нашей неудачи была, кроме того, капля смертельного яда: отец превосходно знал состояние моих финансов и заметил недостачу трех тысяч «академических долларов», а это, с его точки зрения, означало, что я украл тридцать настоящих долларов. После этого печального происшествия я получил от отца письмо, полное достоинства и сдержанной печали; на этот раз он уже не пытался утешить меня ни ласковым словом, ни обещаниями. Все остальное время я влачил жалкое существование клерка, продавал свое платье и вещи, чтобы спекулировать на гроши, продавал свои эскизы и кое-как перебивался, тогда как мечта моя о Париже мало-помалу гибла безвозвратно. Конечно, все это время отец не переставал думать обо мне и о том, что ему делать со мной. Очевидно,

мой недостаток выдержки, мое отсутствие строгих принципов крайне огорчили его, и он решил уже не подвергать меня искушению. Впрочем, архитектор Капитолия превосходно отзывался о моих рисунках. И в то время, как отец колебался и не знал, что со мной делать, фортуна выступила в мою защиту, и Маскегонский Капитолий перевернул мою судьбу.

Отец встретил меня на дебаркадере железной дороги и прежде, чем я успел что-либо сказать ему, улыбаясь, спросил:

– Скажи мне, Лауден, сколько времени потребовалось бы тебе, если бы ты поехал в Париж, на то, чтобы сделаться опытным скульптором?

– Что ты называешь, отец, опытным скульптором?

– Я называю таким человека, которому можно доверить серьезную работу, ответственный заказ в значительном, патриотическом стиле!

– Для этого надо учиться года три, а быть может, и больше! – отвечал я.

– И ты полагаешь, что для этого необходимо ехать в Париж? Но ведь и у нас есть свои великие скульпторы, к примеру, Проджерс, хотя, конечно, он стоит слишком высоко для того, чтобы давать уроки, и я, пожалуй, согласен с тобой, чтобы молодой уроженец Соединенных Штатов, сын одного из наиболее значительных граждан города, изучал скульптуру под руководством самых великих мастеров современного искусства в Париже! – проговорил как-то торжественно отец.

– Но, дорогой батюшка! – воскликнул я. – Что все это значит? Я никогда не мечтал быть скульптором!

– Знаю, знаю. Но ты прежде всего выслушай меня, – продолжал отец. – Я, видишь ли, принял на себя подряд на выполнение скульптурных работ для нашего Капитолия. Сначала я взял его в доле с другими, но затем мне пришло на ум, что всего лучше было бы оставить его совершенно за собой и за тобой. Это дело должно быть тебе по душе: тут можно зарабатывать и хорошие деньги, и славу, и, кроме того, это дело патриотическое. Итак, если ты согласен, то я пошлю тебя в Париж, а через три года ты вернешься сюда и украсишь своими произведениями Капитолий твоего родного штата. Это чудный случай для тебя, Лауден. И знаешь, я тебе обещаю, что на каждый заработанный тобою доллар я буду прибавлять тебе от себя по доллару, а пока, чем скорее ты отправишься в Париж и чем усерднее ты будешь там работать, тем лучше! Ты сам отлично понимаешь, что если первые пять-шесть статуй твоей работы не угодят вкусу маскегонской публики, то от этого могут произойти большие неприятности и для тебя, и для меня! – закончил он.

II

Вино Руссильон

Матушка моя была родом из шотландской семьи, и отец нашел нужным, чтобы я по пути в Париж заехал на некоторое время в Эдинбург, где жил мой дядюшка Эдам Лауден, богатый оптовый торговец, живший теперь процентами со своих капиталов. Это был человек чрезвычайно чопорный, напыщенный и едко-насмешливый. Семья его была тоже очень смешливая, и я долгое время не мог понять, что, собственно говоря, их так забавляет, но в конце концов сообразил, что единственной причиной их хихиканья было то, что я был американец.

– Да-а-а... – говорил он, насколько возможно растягивая слова, – так, значит, у вас, в вашей стране, то-то и то-то обстоит или делается вот так-то и так-то!..

А кучка моих двоюродных братьев при этом превесело хихикала. Беспрестанные повторения таких выходок они, надо полагать, считали каким-то особенным способом развлечения, который можно бы назвать, пожалуй, американским. У меня, помню, являлось искушение начать им рассказывать о том, что мои американские друзья-приятели в летние месяцы ходят голые и что методистская церковь в Маскегоне вся изукрашена скальпами. И не могу сказать, чтобы это особенно удивило моих родственников. Эти факты казались им столь же правдоподобными, как то, что мой отец был республиканец и горячий патриот. Если бы я еще сказал им, что родитель мой ежегодно уплачивал весьма значительную сумму за то, чтобы я получил образование в игорном заведении, хихиканье этой милой семьи было бы, пожалуй, извинительно.

Не могу не сознаться, что бывали минуты, когда я с особым удовольствием придумывал бы и дядюшку, и всю его семью, настолько меня возмущало их обращение со мной. Но вскоре мне представился случай убедиться, что, в сущности, их обращение не должно было выражать неуважения к моей личности, так как, устроив торжественный обед, дядюшка не без некоторой гордости и чванства представлял меня своим друзьям и знакомым. Я был «сын моего американского свояка, мужа моей бедной Джен, Джеймса Додда, известного маскегонского миллионера», – рекомендация, явно рассчитанная на то, чтобы сердце мое наполнилось чувством фамильной гордости.

Сначала моим проводником по городу был назначен дряхлый клерк моего деда, приятный, робкий человек, питавший большую склонность к виски. В компании этого безобидного, но отнюдь не аристократического спутника я осмотрел «трон Артура» и Колтон-Хилл, послушал, как играет оркестр в саду на Принсис-стрит, поглядел на исторические реликвии и на кровь Риччио в величественном замке на утесе и влюбился и в этот замок, и в бесчисленные колокольни, и в красивые здания, и в широкие проспекты, и в узенькие, кишмя кишевшие народом улочки старинного города, где мои предки жили и умирали в те дни, когда никто еще не слыхал о Христофоре Колумбе.

Более всего меня интересовала личность моего деда, Александра Лаудена. В свое время старый джентльмен был простым каменщиком и быстро пошел в гору, скорее орудуя врожденным лукавством, нежели блистая действительными заслугами. Вся его внешность, манера, разговор и обращение ясно выдавали его прежнее социальное положение и его низкое происхождение, что было положительно нож острый для моего дядюшки. Даже в самые лучшие моменты, когда его удавалось заставить молчать, при одном взгляде на старика сразу можно было узнать в нем простолюдина, с жесткими мозолистыми руками, вечно грязными ногтями, грубой веселостью и сильными народными словечками. И сколько ни жеманились, ни подтягивались и ни манерничали тетушка и кузины, сколько ни важничал дядюшка, в них

без труда можно было признать семью, вышедшую из народа, что страшно мучило дядюшку, вызывая в нем чувство, близкое к ненависти по отношению к старику.

На стороне американца, каким был я, оказалась значительная выгода. Я ни капли не стыдился своего дедушки, и старый джентльмен отметил эту разницу. Он хранил нежную память о моей матери, быть может, потому, что она в его глазах была полной противоположностью дяде Эдаму, которого она ненавидела яростно; и мое ласковое обращение с ним он приписывал наследственной преемственности от моей матери. Вскоре мы стали со стариком не только друзьями, но и неразлучными спутниками во время ежедневных прогулок не столько по городу, сколько по пригородам или загородным поселкам. Когда мы отправлялись с ним на прогулку – а скоро эти прогулки стали ежедневными, – он иногда (не забыв шепотом предупредить меня, чтобы я не проговорился об этом Эдаму) заходил в какой-нибудь трактир, где прежде бывал частым гостем, и там (если ему везло и он встречал своих старинных приятелей) с великой гордостью представлял меня честной компании, отпуская одновременно шпильку по адресу остальных своих потомков.

«Это сынок моей Дженни, – говаривал он в таких случаях. – Вот он – паренек хороший, не в пример другим». Во время наших прогулок мы не осматривали исторических древностей и не любовались видами, вместо этого мы посещали один за другим унылые окраинные кварталы. Интересны они были потому, что, как заявлял старик, он был подрядчиком, который их строил, а порой и единственным архитектором, который их планировал. Мне редко приходилось видеть более безобразные дома – их кирпичные стены, казалось, краснели, а черепичные крыши бледнели от стыда. Но я умел скрывать свои чувства от дряхлого ремесленника, и, когда он указывал на какой-нибудь очередной образчик уродства, обычно добавляя замечание вроде: «Вот эту штуку придумал я: дешево, красиво и всем пришлось по душе, а потом эту мыслишку у меня позаимствовали, и под Глазго есть целые кварталы с такими вот готическими башенками и плинтусами», – я торопился вежливо выразить свое восхищение и (заметив, что это доставляет ему особенное удовольствие) осведомиться, во сколько обошлось каждое такое украшение. Нетрудно догадаться, что наиболее частой и приятной темой наших разговоров был Маскегонский Капитолий.

Я по памяти начертил для деда все планы этого здания, а он с помощью узкой и длинной книжицы, полной всяческих цифр и таблиц (справочника Молесворта, если не ошибаюсь), которую всюду носил с собой в кармане, составлял примерные сметы и покупал с воображаемых торгов воображаемые подряды. Наших маскегонских строителей он окрестил шайкой стервятников, и эта интересная для обеих сторон тема, в соединении с моими познаниями в области архитектуры, теории деформации и цен на строительные материалы в Соединенных Штатах, послужила надежной основой для сближения старика и юноши, в остальных отношениях совсем друг на друга не похожих, и заставила моего деда с большим жаром называть меня «умнейшим пареньком». Таким-то образом, как вы в свое время увидите, Капитолий моего родного штата вторично оказал сильнейшее влияние на течение моей жизни.

Это здание играло вообще огромную роль в моей жизни. Благодаря ему я зарекомендовал свои художественные способности с выгодной стороны отцу, благодаря ему же я был отправлен в Париж, наконец, благодаря ему я стал особенным любимцем моего деда, и сам того не подозревал, уезжая из Эдинбурга, что наш Маскегонский Капитолий и здесь сослужил мне громадную службу.

Я покинул Эдинбург не без мысли о том, что мне удалось немало совершить в свою пользу. А главное, я радовался, что бежал наконец из этого несносного дома и скоро погрузюсь в мой радужный Париж. У каждого человека свой роман; мой состоял в том, чтобы предаться исключительно обучению искусствам, вести жизнь студентов Латинского квартала и вообще войти в мир Парижа, как он изображен маститым мудрецом, автором «Чело-

веческой комедии». И я не был разочарован, да и не мог быть, потому что мне не надо было видеть фактов, я их принес с собой готовыми. И не разочаровался. Впрочем, я и не мог разочароваться, ибо видел не реальный Париж, а тот, который рисовало мне воображение. Моим соседом в безобразном, пропитанном запахами кухни пансионе на улице Расина, где я поселился, был Марко; в захудалом ресторанчике я обедал за одним столом с Лусто и Рас-тиньяком; а если на перекрестке на меня чуть не наезжал изящный фиакр, значит, им правил Максим де Трай. Как я уже сказал, обедал я в дешевом ресторанчике, а жил в дешевом пансионе – но не из нужды, а из романтических побуждений. Отец щедро снабжал меня деньгами, и если бы я только пожелал, то мог бы жить на площади Звезды и ездить на занятиях в собственном экипаже. Однако тогда вся прелесть парижской жизни была бы для меня утрачена: я остался бы прежним Лауденом Доддом, в то время как теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, и в самом деле жил так, как жили герои тех книг, которые я, погружаясь в мир мечты, запоем читал и перечитывал в лесах Маскегона.

Все мы в Латинском квартале в эту пору были помешаны на Мюрже, все бредили им. Кроме того, в Одеоне чуть не ежедневно давались представления «Жизни богемы», сенсационной пьесы, которою вся молодежь увлекалась до того, что добрая половина обитателей Латинского квартала старательно воплощала в себе тип Родольфа или Шонара, а многие заходили даже еще дальше. Я, к примеру, с положительной завистью смотрел на одного моего соотечественника, имевшего студию на улице Мосье-ле-Пренс, носившего высокие сапоги, длинные, всклокоченные волосы, болтавшиеся по плечам, крошечную дорожную фуражечку вместо шляпы и в таком виде отправлявшегося ежедневно обедать в самую скверную харчевню в сопровождении корсиканской модели, его возлюбленной, одетой в самый вызывающий и при этом игривый костюм, который язык не поворачивается назвать национальным. Я же довольствовался только тем, что старался слыть за бедняка, носил картуз дорожного рабочего на улице и преследовал с тысячей различных приключений парижских гризеток. Самыми мучительными вещами были пища и питье. Я был рожден на свет с лакомым языком и с нёбом, приспособленным к вину, и только фанатическая приверженность к тексту романов могла заставить меня глотать рагу из кролика и красные чернила, называвшиеся «Берси». И ведь каждый раз, изо дня в день, когда я кончал работу в студии, где я занимался чрезвычайно усердно и далеко небезуспешно, меня словно окатывало волной отвращения. Мне приходилось украдкой ускользать от своих приятелей и обычных компаньонов и вознаграждать себя за недели самоистязания тонкими винами и вкусными блюдами, сидя где-нибудь на террасе или среди зелени в саду с раскрытой книжкой одного из моих любимых авторов, в которую я по временам заглядывал. Так я наслаждался до тех пор, пока не наступала ночь и не зажигались огни в городе, а потом брел домой по набережной при свете месяца или звезд, предаваясь мечтаниям и перевариванию вкусного обеда.

Такая слабость духа вовлекла меня на второй год моего пребывания в Париже в некоторое приключение, о котором я должен поведать. Я отношусь пристрастно к этому случаю, потому что он послужил поводом для моего знакомства с Джимом Пинкертоном. В один октябрьский день, когда пожелтелые листья падают на бульвары и настроение впечатлительных людей клонится в одинаковой степени к грусти и к исканию общества, я сидел один за обедом в ресторане. Ресторанчик был неважный, но в нем был хороший погреб и имелся длинный список разных вин. Я тут наслаждался вдвойне – и как любитель вин, и как любитель громких названий; просматривая карту, я уже в самом конце ее натолкнулся на название, не особенно прославленное и знаменитое, – «Руссильон». Я вспомнил, что никогда еще не пробовал такого вина, приказал подать бутылку, нашел вино великолепным и, когда прикончил бутылку, крикнул гарсона и, по моему обычаю, хотел спросить еще полбутылки. Но оказалось, что в этом ресторане его не держали в полубутылках; тогда я приказал подать себе бутылку и незаметно осушил ее до дна. Затем мне помнится смутно, что я громко

и горячо говорил с соседями, сидевшими за ближайшими ко мне столиками, говорил на патристические темы, причем ясно помню, что в целой зале не было ни одного лица, которое не было бы обращено в мою сторону и не смотрело бы на меня с добродушной, приятной улыбкой. Я даже сейчас, спустя целых двадцать лет, помню, что я тогда говорил, но мне совестно говорить это теперь.

Я намеревался отправиться из ресторана в кафе с некоторыми из этих новых друзей, но едва только я очутился в боковой аллее бульвара, как увидел, что подле меня нет никого. Это обстоятельство и тогда меня почти не удивило, а теперь удивляет еще меньше; но зато я весьма огорчился, когда заметил, что пытаюсь пройти сквозь будку с афишами. Я начал подумывать, не повредила ли мне последняя бутылка, и решил выпить кофе с коньяком, чтобы привести свои нервы в порядок. В кафе «Источник», куда я отправился за этим спасительным средством, бил фонтан, и (что крайне меня изумило) мельничка и другие механические игрушки по краям бассейна, казалось, недавно починенные, выделявали самые невероятные штуки. В кафе было необычайно жарко и светло, и каждая деталь, начиная от лиц клиентов и кончая шрифтом в газетах на столике, выступала удивительно рельефно, а весь зал мягко и приятно покачивался, словно гамак. Некоторое время все это мне чрезвычайно нравилось, и я подумал, что не скоро устану любоваться окружающим, но вдруг меня охватила беспричинная печаль, а затем с такой же быстротой и внезапностью я пришел к заключению, что я пьян и мне следует поскорее лечь спать.

От этого кафе до моего дома было каких-нибудь два шага. Портье вручил мне маленький ручной подсвечник, каким обычно снабжал жильцов, возвращающихся поздно домой, с уже зажженной свечой, – и я не торопясь поднялся на четвертый этаж, где находилась моя комната. Несмотря на то что я был пьянехонек, я рассуждал вполне разумно и здраво. Более всего меня заботила мысль о том, чтобы поспеть завтра вовремя в студию. Придя в свою комнату, я взглянул на каминные часы и заметил, что они остановились. Поэтому я решил спуститься вниз и попросить портье разбудить меня в определенный час. Оставив свечу у моей открытой двери, чтобы потом не заблудиться, я пошел вниз. Весь дом был погружен во тьму; но на каждой площадке было только по три двери, так что запутаться было невозможно, и мне оставалось только спуститься по лестнице, пока не увижу огонька в каморке швейцара. И вот, отсчитал я четыре этажа, а швейцара не видать. Ну что же, возможно, что я неверно сосчитал; иду себе дальше и дальше, спускаюсь этаж за этажом, наконец, по моему счету, спускаюсь до какого-то невозможного девятого. Мне становится ясным, что я как-нибудь проглядел каморку швейцара. Да и в самом деле, я теперь видел пять пар звездочек где-то ниже улицы, так что, значит, я очутился уже под землей. Видимое ли дело: наш дом был выстроен над парижскими катакомбами, и это открытие возбудило во мне живейший интерес; не будь я так крепко одержим заботой о своей работе, я, наверное, занялся бы исследованием этого подземного царства. Но я помнил, что мне надо быть в мастерской утром, в известный час, и что я во что бы то ни стало должен найти швейцара. Я повернул назад и поднялся снова до уровня улицы. Я взобрался на пятый, шестой, седьмой этаж – швейцара все нет как нет. Это наконец меня истомило; я сообразил, что теперь я недалеко от своей комнаты, и решил бросить поиски и лечь спать. Я взбирался все выше. Вот восьмой, вот девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый этаж, и... моя открытая дверь оказалась для меня столь же потерянной, как и каморка швейцара, как его оплывшая свеча. Я вспомнил, что наш дом был всего-навсего шестиэтажный, так что по самому умеренному расчету я поднялся теперь на три этажа над крышей. Свойственный мне врожденный юмор внезапно уступил место несвойственному моей натуре раздражению.

– Моя комната должна быть тут, вот тут! – решил я и пошел прямо к двери, протягивая руки.

Но передо мной не было ни двери, ни стены; передо мной простирался темный коридор, по которому я некоторое время продвигался вперед, не встречая ни малейшего препятствия. И это в доме, где длиннейшая дистанция включала в себя три небольшие комнаты, узкую площадку лестницы и самую лестницу! Чистая нелепость! Вы не удивитесь, узнав, что я теперь уже начал выходить из себя. Вдруг я заметил в стороне узкую полоску света, выбивавшуюся, очевидно, из щели неплотно притворенной двери. Недолго думая, я нащупал ручку этих дверей и вошел в комнату, хотя и знал, что это не моя комната. Но что же мне было делать?! Надо же было спросить хоть у кого-нибудь, как мне добраться к себе. В комнате, где еще горела лампа, находилась молодая девушка, которая в этот момент, очевидно, ложилась спать и уже более чем наполовину разделась.

– Прошу извинить меня, – проговорил я, – но я живу в комнате номер двенадцать, похоже, с этим проклятым домом что-то случилось.

Девушка посмотрела на меня и затем сказала:

– Выйдите на минуту за дверь, я сейчас провожу вас в вашу комнату!

Таким образом, дело было улажено. Я подождал немного за дверью, и затем незнакомка, накинув блузу и шаль, взяла меня за руку, провела на другой этаж, четвертый над крышей (по моему счету), и, проводив меня до дверей моей комнаты, тихонько втолкнула и заперла за мною дверь.

Я до того устал, до того был измучен своим продолжительным странствованием по лестнице, что, почти не раздеваясь, лег на постель и заснул как ребенок. Вопреки вчерашним добродетельным намерениям, настроения идти в студию у меня не было, и вместо этого я отправился в Люксембургский сад, чтобы там в обществе воробьев, статуй и осыпающихся листьев остудить голову и привести в порядок мысли. Я очень люблю этот сад, занимающий столь видное место и в истории, и в литературе. Барра и Фуше выглядывали из окон этого дворца. На этих скамьях писали стихи Лусто и Банвилль (первый кажется мне не менее реальным, чем второй). Из города доносится оживленный шум уличного движения, а вокруг и сверху шумят деревья, дети и воробьи наполняют воздух криками, и статуи смотрят на все это своими вечными взглядами. Я уселся на скамью, стоявшую против входной галереи, раздумывая над событиями минувшей ночи, стараясь, насколько возможно, отделить возможное от невозможного.

При дневном свете оказалось, что в доме только шесть этажей, как всегда было и прежде. Со всем моим архитектурным опытом я не мог втиснуть в его высоту все эти бесконечные лестничные марши, и он был слишком узок, чтобы вместить в себя длинный коридор, по которому я шел ночью. Однако самым неправдоподобным было даже не это. Мне вспомнился прочитанный когда-то афоризм, гласивший, что все может оказаться не соответствующим себе, кроме человеческой натуры. Дом может вырасти или расшириться – во всяком случае, на взгляд хорошо пообедавшего человека. Океан может высохнуть, скалы – рассыпаться в прах, звезды – попадать с небес, словно яблоки осенью, и философ ничуть не удивится. Но встреча с молодой девушкой была случаем иного порядка. В этом отношении от девушек толку мало; или, скажем, мало толку применять к ним подобные правила; иначе говоря (можно и так взглянуть на дело), они существа высшего толка. Я готов был принять любую из этих точек зрения, так как все они приводили, в сущности, к одному выводу, к которому я уже начал склоняться, когда мне в голову пришел еще один аргумент, окончательно его подтвердивший. Я помнил наш разговор дословно – ну так вот: я заговорил с ней по-английски, а не по-французски, и она ответила мне на том же языке. Отсюда следовало, что все ночное происшествие было сном: и катакомбы, и лестницы, и милосердная незнакомка.

Едва я успел прийти к этому заключению, как по осеннему саду пронесся сильный порыв ветра, посыпался дождь сухих листьев и над моей головой с громким чириканьем взвилась стайка воробьев. Этот приятный шум длился всего несколько мгновений, но он

успел вывести меня из рассеянной задумчивости, в которую я был погружен. Я быстро поднял голову и увидел перед собой молодую девушку в коричневом жакете, которая держала в руках этюдник. Рядом с ней шел юноша несколькими годами старше меня, под мышкой он нес палитру. Их ноша, а также направление, в котором они шли, подсказали мне, что они идут в музей, где девушка, несомненно, занимается копированием какой-нибудь картины. Представьте же себе мое изумление, когда я узнал в ней мою вчерашнюю незнакомку! Если у меня и были сомнения, они мгновенно рассеялись, когда наши взгляды встретились и она, поняв, что я узнал ее, и вспомнив, в каком наряде была она во время нашей встречи, с легким смущением отвернулась и стала смотреть себе под ноги.

Не помню теперь, была она красива или дурна собой, но всегда вспоминаю, как мило и разумно было ее поведение, а я предстал перед ней в столь невыгодном свете. И конечно, у меня явилось желание восстановить себя в ее глазах. Молодой человек, сопровождавший ее, был, вероятно, ее брат, и я полагал, что всего лучше объясниться с ним и через его посредство извиниться перед молодой девушкой за свое вчерашнее поведение.

С таким намерением я также направился к галерее, и в тот момент, когда уже подходил к дверям, из них вышел тот самый молодой человек, которого я принял за брата моей вчерашней благодетельницы. Вот так я впервые столкнулся лицом к лицу с третьим воплощением моей судьбы: весь мой жизненный путь сложился благодаря всего трем главным элементам. Первым был мой отец, вторым – Маскегонский Капитолий и третьим – мой друг Джим Пинкертон. Что же касается молодой девушки, которой главным образом были заняты в тот момент мои мысли, то с того самого дня мне не суждено было еще хоть раз услышать о ней.

III

Знакомство с Джимом Пинкертоном

Молодой человек, с которым я столкнулся в дверях, был, должно быть, всего несколькими годами старше меня, хорошо сложенный, с оживленным, открытым лицом, приветливыми манерами и чрезвычайно быстрыми и блестящими серыми глазами.

– Позвольте мне сказать вам пару слов! – остановил я его.

– Положительно не могу себе представить, что это может быть, мой милейший сэр, – отозвался незнакомец, – но если вы имеете сказать мне что-нибудь, то, сделайте одолжение, говорите, и не только пару слов, но хоть целую сотню, я слушаю!

– Вы только что покинули молодую особу, по отношению к которой я, совершенно неумышленно, конечно, позволил себе некоторую смелость, и теперь желал бы извиниться перед нею. Но сделать это лично я не смею, зная, что это только сконфузит ее и будет до известной степени неделикатно с моей стороны. Поэтому я спешу воспользоваться удобным случаем прислать ей свои извинения через вас, в котором я, если не ошибаюсь, вижу ее друга или брата!

– Вы мой земляк! – воскликнул с неудержимым, радостным восхищением молодой человек. – Я вижу это по тому, с какой деликатностью вы относитесь к женщине. Но относительно меня вы ошиблись: я сам в одном знакомом доме только вчера был представлен этой милой особе и, случайно встретив ее сегодня, просто предложил проводить до галереи и донести мольберт. Но скажите мне, ради Бога, ваше имя. Я готов держать пари, что мы земляки!

– Зовут меня Лауден Додд, родом из Маскегона, занимаюсь скульптурой.

– Скульптурой! – воскликнул незнакомец. – О, как я рад! Скульптор и американец! А я – Джеймс Пинкертон, честь имею представиться!

– Пинкертон! – воскликнул я в свою очередь. – Так вы Пинкертон «Сломанный Стул»!

– Он самый! – смеясь, подтвердил молодой человек. – А, и вы слышали об этом!

Действительно, в то время это прозвище было известно каждому молодому человеку в Латинском квартале, и любой мальчишка с удовольствием носил бы столь честно заработанное прозвище.

Для того чтобы объяснить лестное значение этого прозвища, надо сказать два слова о тогдашних нравах в некоторых студиях, где новичков изводили самыми дикими и нелепыми, а зачастую и просто неприличными выходками. Два последовавших один за другим крупных инцидента внесли несколько здравый взгляд на этот образ действий и способствовали искоренению этого варварского и дикого обычая. Первый случай был такого рода: новичком являлся молодой армянин, щеголявший в феске и носивший (обстоятельство, никем не учтенное) у пояса кинжал. Поначалу он довольно терпеливо выносил различные издевательства, но когда остальные ученики позволили себе уже совершенно непристойную вольность, то, выведенный из терпения, он выхватил свой кинжал и с такой силой пырнул им в живот дерзкого шутника, что тот пролежал несколько месяцев в постели, прежде чем смог продолжить учение.

Героем же второго подобного случая был Джеймс Пинкертон. В многолюдной студии, в тот момент, когда над робким и смущенным новичком проделывались самые возмутительные издевательства, он вдруг поднялся со своего места и воскликнул: «Пусть каждый англосаксонец сейчас выступит вперед! Мы грубы, но не способны ни на что постыдное и непристойное!» При этом каждый англосаксонец схватился за свой стул – и началось настоящее побоище, в котором все говорящие по-английски ученики показали себя

защитниками обиженного и оскорбленного и порядком проучили французов, обратившихся в постыдное бегство. Главным действующим лицом в этом деле и инициатором этого блестящего заступничества являлся Джеймс Пинкертон. Он одним взмахом разломал свой стул и самым обстоятельным образом «выставил» из мастерской своего весьма дюжего противника, который при этом мимоходом прошиб холст, натянутый на подрамник, да так и вылетел на улицу, оправленный в раму.

Понятно, что это происшествие возбудило много толков среди молодежи Латинского квартала – и Джеймс Пинкертон стяжал себе громкую славу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я был чрезвычайно доволен встречей и знакомством с моим знаменитым соотечественником. Еще несколько раз за один только этот день я имел случай убедиться к сходстве его характера с характером Дон Кихота.

Идя вместе из Люксембургского сада, мы очутились близ студии одного молодого художника, француза, которому я обещал зайти посмотреть его работу. Согласно обычаям Латинского квартала, я затащил к нему и моего нового знакомого Пинкертона. Надо признаться, что большинство моих тогдашних товарищей были люди весьма непорядочные и некорректные, и я невольно дивился, откуда появлялись уважаемые, почтенные художники и куда девались распущенные шалопаи-ученики – то же самое можно было сказать и о студентах-медиках моего времени.

Подобная же тайна тяготеет над медицинской профессией и заставляет глубоко задуматься наблюдателя. Тот увалень, к которому я вел Пинкертона, был одним из самых грязных пачкунов во всем квартале. Для нашего услаждения он выставил чудовищную корку⁴, как у нас принято выражаться, изображавшую св. Стефана, валяющегося на брюхе в чем-то красном, и толпу евреев около него, синих, зеленых, желтых, которые дубасили его, по-видимому, какими-то прутьями или пучками.

И пока мы смотрели на это произведение искусства, он услаждал наш слух повествованием одного из последних эпизодов своей жизни, которым, казалось, был сильно занят в это время его ум и в котором, как он думал, его почтенная особа играла весьма завидную роль. Я лично принадлежал в то время к числу людей, которые принимают жизнь такой, как она есть (и у себя на родине, и за границей), и любимая роль которых – роль зрителя, в большинстве случаев безучастного, но на этот раз и я слушал творца «Стефана» с нескрываемым отвращением. Вдруг кто-то сильно дернул меня за рукав.

– Неужели он говорит, что спустил ее с лестницы? – спросил Пинкертон, бледный как полотно.

– Да, и затем он стал бросать в нее камнями. Именно это, оказывается, и навело его на мысль о картине, изображающей избиение св. Стефана. Женщина эта, как он говорит, была настолько стара, что могла бы быть его матерью!

Нечто похожее на рыдание вырвалось из груди Пинкертона.

– Скажите ему, скажите этому негодяю... – захлебываясь, проговорил он, – я не могу объясняться по-французски, хотя и понимаю этот язык, скажите ему, что я разможжу ему голову!

– Бога ради, не делайте ничего подобного! – воскликнул я, – Ведь они, эти французы, не понимают таких вещей!

– Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем, – возражал он. – Пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца.

– Предоставьте это мне, – сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь.

⁴ «Crust», по-английски, или «la croûte», по-французски, значит корка – уничижительная кличка дурно намалеванной картины. (Примеч. авт.)

– Qu'est-ce qu'il a?⁵ – спросил студент.

– Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regardé votre croûte⁶, – ответил я и поспешил выбежать вслед за Пинкертоном.

– Что вы ему сказали? – осведомился тот.

– Единственное, что могло его задеть, – сообщил я.

После этой сцены, после той вольности, которую я позволил себе, вытолкнув моего спутника за дверь, после моего собственного не слишком достойного ухода мне оставалось только предложить ему пообедать со мной. Я забыл название рестораника, в который мы пошли, во всяком случае, он находился где-то за Люксембургским дворцом, а позади него был сад, и мы через несколько минут уже сидели там за столиком друг против друга и, как водится в юности, обменивались сообщениями о своей жизни и вкусах.

Родители Пинкертона приехали в Штаты из Англии, где, как я понял, он и родился, хотя у него была привычка об этом забывать. То ли он сам убежал из дому, то ли его выгнал отец, не знаю, но, во всяком случае, когда ему было двенадцать лет, он уже начал вести самостоятельную жизнь. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его, словно яблоко-падаец, на обочине дороги в Нью-Джерси. Маленький оборвыш понравился ему, он взял его себе в подручные, научил всему, что знал сам, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в Священном писании, а затем умер где-то на дороге в Огайо.

– Он был замечательным человеком, – говорил Пинкертон. – Видели бы вы его, мистер Додд! Он был благообразен, как библейский патриарх!

После смерти своего покровителя мальчик унаследовал его фотографические принадлежности и продолжил дело.

– Моей жизни можно было позавидовать, клянусь! – восклицал Пинкертон. – Я побывал во всех прекраснейших местах этого прекраснейшего из всех материков, уроженцами которого мы с вами имеем честь называться. Я желал бы, чтобы вы видели мою коллекцию снимков. Я видел природу в ее самые отрадные и самые грозные моменты.

Странствуя с места на место, мальчуган, умевший читать, повсюду добывал книги, как хорошие, так и дурные, и читал без разбора то, что ему попадало под руку. При этом он запоминал решительно все до мельчайших подробностей, вникал по возможности во все – в любое ремесло, в любой промысел, – многое угадывал и схватывал просто на лету, обладая удивительной наблюдательностью, чуткостью и смышленостью. Таким путем у него составились какие-то представления и понятия о том, что, по его убеждению, составляло кодекс священных обязанностей всякого гражданина Америки: быть честным, быть патриотом и приобретать знания и состояние всеми силами.

Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ: «Для того, чтобы создать тип! – восклицал он. – Все мы обязаны участвовать в этом; все мы должны стараться над созданием типа американца! Лаудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?»

Однако ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена – так объяснял он свои деловые соображения, – притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах, я знаю только, что сущность его,

⁵ Что с ним? (фр.)

⁶ Этот господин почувствовал резь в животе оттого, что слишком засмотрелся на вашу мазню (фр.).

как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы.

— Я вложил в это дело всю мою душу. Я отказывался от еды и от сна, когда погружался в него. Опытные люди утверждали, что я обдумал и наладил это дело в течение месяца и практиковал его в течение года, — говорил он. — А преинтересная штука, как-никак. Ведь в самом деле забавно подхватить кого-нибудь, идущего мимо, приспособить ваш ум к его характеру и вкусам, отвлечь его от кассы и на лету всучить ему билет туда, куда ему надо. Едва ли какой-нибудь скальпировщик на континенте делал меньше промахов. Но для меня это было только временным делом. Я берег каждый доллар: я смотрел вперед. Я знал, чего я хочу — богатства, образования, уютного и комфортного дома, образованной женщины в жены, потому что, мистер Додд, — это он уже выкрикивал изо всех сил, — каждый человек должен жениться на женщине выше себя духовно; если жена не берет верх над мужем, то я называю такой брак чувственным. Такова моя мысль. Ради этого я и был бережлив. Ну и довольно об этом! Но далеко не каждый человек, о, далеко не каждый, может сделать то, что я сделал: закрыть деятельнейшее агентство в Сент-Джо, где можно было добывать доллары целыми котлами, уединиться и без единого друга, без знания единого французского слова поселиться здесь и расходовать свой капитал на изучение искусства!

И вот, накопив достаточно денег, этот юноша, не зная ни слова по-французски, не имея ни знакомых, ни друзей, отправился во Францию и поселился в Париже, где стал заниматься живописью.

— Что побудило вас заняться живописью, — спросил я, — давнишнее пристрастие или внезапная фантазия?

— Ни то ни другое, мистер Додд! — возразил он. — Я просто спросил себя, что всего более нужно моей стране в настоящее время, и решил: побольше культуры и искусства, поэтому я избрал наилучшее место, где можно было приобрести то и другое, и приехал сюда в надежде быть впоследствии полезным моей родине!

Искренний убежденный тон и горячая любовь к родине, сквозившая в каждом слове и движении этого молодого человека, невольно пристыдили меня — у него в мизинце было больше жару и огня, чем во всей моей особе. Он был напичкан по горло всеми добродетелями мужчины и гражданина, и хотя его артистическое призвание казалось мне сомнительным, все же трудно было предвидеть, чего только не могли совершить такая удивительная энергия, такое горячее убеждение и такой явный избыток сил. Поэтому-то, когда он предложил мне зайти к нему и взглянуть на его работу (нечто неизбежное при каждом новом знакомстве среди обитателей Латинского квартала), я с большой охотой согласился последовать за ним.

Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями — его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это — искусство и все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкертон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какие-нибудь достоинства — и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. Но вот окончился и вторичный обход, и оба мы были совершенно подавлены.

Он как будто понял это и сказал:

— Не говорите ничего, это совершенно лишнее...

— Если изволите мне быть совершенно откровенным, то я скажу вам: вы даром тратите время и труд!

– Вы не видите даже ничего обещающего что-нибудь в будущем? – робко спросил он, заглядывая мне в лицо своими тревожно-горящими глазами.

– Мне, право, очень жаль, Пинкертон, – продолжал я, – но я никак не могу посоветовать вам продолжать работать на этом поприще!

Сердце у меня сжималось от боли при мысли о том, какой тяжкий удар я наносу этими словами моему новому знакомцу. И что же?! Не прошло минуты, как он вновь совершенно ожил и отскочил, словно резиновый мяч, от овладевшего им на мгновение отчаяния.

– Что же, – сказал он, – я все же буду продолжать работать, буду вкладывать в это дело всю душу, и хотя из меня никогда не выйдет художника, но это все же даст мне возможность, вернувшись на родину, работать в каком-нибудь иллюстрированном издании или, в конце концов, стать торговцем. Все это даст мне понимание и опыт, – добавил он. – Во всяком случае, я видел, что вам немало стоило сказать мне то, что вы сказали, и я вам очень благодарен за это, мистер Додд. Я вам, конечно, не ровня по культурности и по таланту, но ценить людей и их услуги я умею!

– Вы не можете так говорить обо мне, – заметил я, – я видел вашу работу, а вы не видали моей!

– Мы можем теперь же пойти и посмотреть, но я и без того знаю, что вы стоите много выше меня, это чувствуется как-то сразу!

По правде сказать, мне было почти стыдно вводить его в свою студию, потому что моя работа, уж какая бы там она ни была, худая ли, хорошая ли, была неизмеримо лучше, чем его. Но теперь он совершенно оправился и даже удивил меня дорогой своими легкомысленными разговорами и новыми затеями. Я уже начинал понимать, что тут у нас, в сущности, произошло: не артист в нем был задет и обижен в своей страсти к искусству, а только деловой человек, с широкими замыслами и интересами, вдруг убедившийся, да еще притом с такой неожиданностью, что одно из двадцати помещений его капитала было неудачно.

Впрочем, хотя я никак этого не подозревал, он уже начал искать себе утешение в другом и ласкал себя мыслью об отплате мне за мою искренность, о скреплении нашей дружбы и – одно к одному – о подъеме моей оценки его талантов. Я тем временем говорил ему что-то о себе; он вынул записную книжку и кое-что в ней записал. Когда мы вошли в студию, я снова заметил книжку в его руках и увидел, как он поднес ко рту карандаш, после того как бросил выразительный взгляд вокруг на мою некомфортабельную обстановку.

– Неужели вы хотите набросать эскиз моей студии? – спросил я, осторожно снимая парусинный чехол с «Гения Маскегона».

– Извините, это моя тайна, не обращайтесь внимания, прошу вас! Иногда и маленькая мышшь может оказать услугу льву!

С этими словами он стал обходить со всех сторон мою статую, причем я разъяснил ему самую идею и план.

– Скажите, – спросил меня Пинкертон, – вы сами довольны этой работой, мистер Додд?

– Видите ли, другие находят, что для начинающего скульптора, это недурная работа, и я лично думаю, что это не совсем плохо. Мне даже кажется, что в ней есть некоторые достоинства, но я, конечно, надеюсь и хочу создать нечто лучшее!

– А-а, вот оно, это слово! Вот оно! – воскликнул Пинкертон и принялся что-то царапать в своей записной книжке. – Теперь укажите мне на достоинства этой статуи, что в ней особенно хорошо.

– Я предпочел бы, чтобы вы сами определили это! – ответил я.

– Да, но дело в том, что я никогда до настоящего времени не уделял особого внимания статуям и мало понимаю в скульптуре, хотя и восхищаюсь ею, как всякий, в ком есть душа. Поэтому я и прошу вас, Додд, будьте добры, укажите мне, что в ней особенно хорошо и над

чем вы особенно работали, чего желали достигнуть. Все это послужит к пополнению моего образования!

– Прекрасно! – согласился я и прочел целую лекцию об этом виде искусства, используя в качестве иллюстрации свой шедевр, – лекцию, которую я, с вашего разрешения (или без такового), опушу целиком и полностью.

Пинкертон слушал с глубочайшим интересом, задавал вопросы, избличавшие в нем человека не слишком образованного, но наделенного большой практической сметкой, и продолжал царапать в своем блокноте, вырывая листок за листком. То, что мои слова записываются, словно лекция какого-нибудь профессора, вдохновляло меня, а поскольку я еще никогда не имел дела с прессой, то и не подозревал, что записываются они почти все наоборот. По той же самой причине (хотя американцу это может показаться невероятным) мне и в голову не приходило, что они будут сдобрены приправой легких сплетен, а меня самого и мои художественные произведения превратят в фарш, чтобы доставить удовольствие читателям какой-то воскресной газеты. Когда фонтан моего лекторского красноречия иссяк, «Гений Маскегона» был уже окутан ночным мраком.

Уже совершенно стемнело, когда мы вышли из студии и, расставаясь с моим новым приятелем, я условился о встрече с ним на следующий день.

Я был сильно заинтересован и увлечен моим соотечественником с первого момента нашей встречи. Я и впоследствии продолжал интересоваться им и полюбил его сердечно, но должен сознаться, что он был для меня весьма тревожным и неудобным другом. В сущности, он почти не имел серьезных недостатков, а те его недостатки, которые являлись следствием воспитания, он считал чуть ли не добродетелями и воспитывал их в себе с величайшим старанием.

Вскоре между нами начались столкновения. Недели две спустя после знакомства я наконец узнал секрет записной книжки Пинкертона. Оказалось, что мой новый приятель сотрудничал в качестве корреспондента в одной из газет Западных Штатов и посвятил моей жалкой особе целых полтора столбца в этой газете. Я заявил ему, что он не имел права делать это без моего разрешения, что он обязан был предупредить меня о своих намерениях.

– Я знаю, что это вообще так принято, – отвечал он, – но думал, что между друзьями и соотечественниками, особенно когда имеешь в виду оказать услугу, можно обойтись и без этого. Я желал сделать вам сюрприз!

– Но кто вам сказал, что это будет мне приятно?

– Так вы считаете, что я позволил себе непростительную вольность по отношению к вам?! – воскликнул Пинкертон с непритворным отчаянием. – Если бы я это знал, то скорее дал бы отрубить себе руку! А я писал это с такою гордостью, с такою радостью!

Теперь я желал только утешить его, так мне жаль было Пинкертона – так искренно было его отчаяние.



– О, это все пустяки, – сказал я. – Я знаю, что вы хотели сделать мне приятное, и, уж наверное, статья написана с большим вкусом и тактом.

– Безусловно, в этом вы можете не сомневаться! – вскричал он. – И какая газета! Перво-класснейшая... «Санди Геральд» города Сент-Джозеф. А эту серию корреспонденции придумал я сам: явился к редактору, изложил ему мою мысль. Он был покорен ее свежестью, и я вышел из его кабинета с договором в кармане. Свою первую парижскую корреспонденцию я написал в тот же вечер, не покидая Сент-Джо. Редактор только глянул на заголовок и сказал: «Вас-то нам и нужно!»

Это описание литературного жанра, в котором мне предстояло фигурировать, отнюдь меня не успокоило, но я промолчал и терпеливо ждал, пока однажды мне не была доставлена газета, помеченная: «С приветом от Д. П.» Я не без страха развернул ее и между отчетом о боксерском состязании и юмористической статьей о выведении мозолей – ну что можно найти смешного в выведении мозолей! – обнаружил полтора столбца, посвященных мне и моей несчастной скульптуре. Я, как и редактор, взявший в руки первую корреспонденцию, только скользнул взглядом по заголовку и был более чем удовлетворен.

«Новая интересная беседа мистера Пинкертона. Служители искусства в Париже. Маскегонский Капитолий. *Сын миллионера Додд, патриот и художник*»

В тексте под заголовком мне бросились в глаза убийственные фразы вроде: «несколько мясистая фигура», «ясная интеллектуальная улыбка», «гений, не сознающий собственной гениальности». «Скажите, мистер Додд, – продолжал репортер, – что вы думаете о сугубо американском скульптурном стиле?» Да, этот вопрос был мне задан, и – увы! – я действительно на него ответил, и дальше следовал мой ответ, или, вернее, какое-то крошево из моего ответа, напечатанное равнодушным шрифтом для всеобщего обозрения. Я горячо поблагодарил Бога, что студенты-французы не знают английского языка, но тут же вспомнил об англичанах: например, о Майнере, о братьях Стеннис....

В этот момент я готов был наброситься на Пинкертона и избить его, но, чтобы удержаться от подобного поступка, скорее ухватился за письмо отца, надеясь найти в нем что-нибудь, что поможет мне отвлечь мои мысли от этой ужасной корреспонденции – и что же? В конверте находилась вырезка из газеты, на которой мне снова бросились в глаза те же слова, написанные таким же жирным шрифтом: «Сын миллионера Додд, патриот и художник».

«Что думает об этом отец? Что сказал он на это?» – мелькнуло у меня в голове, и я поспешно принялся читать его письмо.

«Дорогой мой мальчик, – писал отец, – посылаю тебе вырезку, которая несказанно порадовала меня, тем более что эта статья появилась в такой распространенной и уважаемой газете, пользующейся весьма хорошей репутацией. Наконец-то я вижу, что ты выдвинулся вперед, что ты делаешь крупные успехи, и я с наслаждением и гордостью думаю о том, как мало молодых людей в твоём возрасте могут похвалиться тем, что им посвящены целых два столбца крупной газеты. Как бы я желал, чтобы покойная мать твоя могла прочесть эту статью с тем же чувством счастливой гордости, с каким читал ее я! Конечно, я отправил этот номер газеты твоему деду и дяде Эдаму в Эдинбург. По-видимому, этот мистер Джеймс Пинкертон – весьма хорошее и полезное для тебя знакомство. Он, несомненно, человек с большим литературным талантом, и, вообще говоря, каждому деятелю, будь он художник, актер, литератор или что иное, полезно водить дружбу с представителями печати. Пресса – великое дело в наше время!»

Не успел я дочитать этих трогательно смешных и наивных строк, как уже готов был обнять и расцеловать Пинкертона за его глупую статью. За всю свою жизнь я ни разу не доставлял отцу такой радости и такого полного удовлетворения, какое доставила ему эта статья; поэтому при встрече с Пинкертоном я порадовал его, сообщив, что мой отец чрезвычайно доволен этой корреспонденцией и считает ее очень умно написанной, но что я лично – враг преждевременной популярности и потому желал бы, чтобы он в другой раз не говорил более о моей особе и не цитировал моих слов.

– Ну что вы, мой милый, – сказал я, – ничего подобного! Только в следующий раз, когда вы захотите оказать мне услугу, пишите о моем творчестве, а мою персону оставьте в стороне и не записывайте моих бессмысленных высказываний. А главное, – добавил я, задрожав, – не сообщайте, как я все это говорил! Вот, например: «С гордой радостной улыбкой». Кому интересно, улыбался я или нет?

– Вот тут вы ошибаетесь, Лауден, – перебил он меня. – Именно это и нравится читателям, в этом-то и заключается достоинство статьи, ее литературная ценность. Таким образом я воссоздаю перед ними всю сцену, даю возможность самому скромному из наших сограждан получить от нашего разговора такое же удовольствие, какое получил я сам. Подумайте, что значило бы для меня, когда я был бродячим фотографом, прочесть полтора столбца подлинного культурного разговора, узнать, как художник в своей заграничной мастерской рассуждает об искусстве, узнать, как он при этом выглядит и как выглядит его мастерская, и что у него было на завтрак; а потом, поедая консервированные бобы на берегу ручья, сказать себе: «Если все пойдет хорошо, рано или поздно того же самого сумею добиться и я». Да я словно в рай заглянул, Лауден!

– Ну, если это может доставить столько радости, – признал я, – пострадавшим не следует жаловаться. Только пусть теперь читателей радует кто-нибудь другой!

В результате это маленькое столкновение только еще более скрепило нашу дружбу. Право, мне кажется, что целый ряд оказанных благодеяний или опасностей, перенесенных вместе, не могли бы в столь короткое время так сблизить нас, как эта готовившаяся ссора, уладившая резкую разницу наших вкусов, понятий и воспитания и примирившая нас друг с другом.

IV Капризы Фортуны

Явилось ли это следствием моих неудачных финансовых операций в Коммерческой Академии, или наследственностью от деда-каменщика, только я был бережлив и чрезвычайно экономен. В течение двух первых лет моей жизни в Париже я не только не выступал из пределов получаемой мной пенсии, но даже скопил изрядное сбережение в банке. Вы скажете, что при моей маскарадной жизни на манер бедного студента мне это было вовсе не трудно; у меня должны были оказаться запасы средств, и было бы удивительно, если бы у меня их не было. Случай, приключившийся со мной на третьем году парижской жизни, вскоре после знакомства с Пинкертоном, показал мне, что я поступал очень благоразумно. Подошел срок присылки мне денег, а повестки из банка все не было. Я послал письмо и в первый раз за все время не получил на него ответа. Каблограмма оказалась действеннее, потому что принесла мне хоть надежду на то, что мне окажут внимание. «Напишу обо всем», – телеграфировал отец, но ждать этого письма мне пришлось долго. Благодаря моим сбережениям я не нуждался в деньгах. Затруднение, бедствие, агония – все было направлено на моего несчастного отца, там, дома, в Маскегоне, где он боролся за существование и имущество против своенравной судьбы; после длинного дня, проведенного в бесплодных хлопотах, он возвращался домой, чтобы читать и, быть может, рыдать над последним сердитым письмом его единственного детища, на которое он не имел мужества ответить.

Наконец, более трех месяцев спустя после вышеупомянутой депеши, я получил письмо с обычными чеками. Отец писал:

«Дорогой мой мальчик, в деловой суете и тревоге я некоторое время был неаккуратен не только в корреспонденции, но даже и в обычной присылке денег. Но прости твоего старика-отца за эту неаккуратность; мне пришлось пережить очень трудное время, и теперь, когда оно миновало, доктор требует, чтобы я отправился поохотиться в Канаду. Не думай, пожалуйста, что я серьезно болен, я только сильно переутомился за это время и чувствую себя несколько слабым. Большинство наших крупных деятелей почти совершенно разорились; многие остались положительно нищими, но мне удалось устоять против грозы, и я полагаю, что на этот раз обставил дела так, что мы с тобой будем теперь богаче, чем когда-либо.

Теперь скажу тебе, что я предполагаю сделать. Ты говоришь, что скоро окончишь свою работу; приналяг на нее, заканчивай, и если твой учитель согласится выслать мне аттестат или удостоверение, что работа эта заслуживает похвального отзыва, я вышлю тебе десять тысяч долларов, с которыми ты можешь сделать все, что тебе будет угодно. Ты утверждаешь, будто нигде нельзя так хорошо работать, как в Париже. Полагаю, самым разумным будет, если ты построишь себе хорошенькую студию, устроишься согласно своим вкусам, и тогда, в один прекрасный день, твой старик невзначай приедет к тебе прямо к завтраку. Право, я хотел бы приехать нынче же, так как чувствую, что старею, и мне хочется повидать моего мальчика, но в данный момент здесь есть такие дела, за которыми необходимо следить лично.

Передай твоему другу, господину Пинкертону, что я еженедельно читаю его корреспонденции и, хотя за последнее время не встречал в них твоего имени, все же узнаю кое-что о жизни, которую ты ведешь в этом большом городе Старого Света, так живо описываемой его талантливым пером».

Разумеется, ни один молодой человек не сумел бы переварить подобное письмо в одиночестве. Оно означало такую перемену судьбы, что необходим был наперсник – и таким

наперсником я, разумеется, выбрал Джима Пинкертона. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что он упоминался в письме; однако не думаю, чтобы последнее обстоятельство сыграло какую-нибудь особую роль – наше знакомство уже успело перейти в дружбу. Мой соотечественник мне очень нравился; я посмеивался над ним, я читал ему нотации и я любил его. Он, со своей стороны, глубоко восхищался мной и глядел на меня снизу вверх – ведь я в избытке получил то «образование», о котором он так мечтал. Он ходил за мной по пятам, всегда готов был смеяться моим шуткам, и наши общие знакомые прозвали его «оруженосцем». Вместе с Пинкертоном мы читали и перечитывали письмо отца, он – даже с более шумным восхищением и умилением, чем я сам.

Статуя моя была уже почти окончена; всего несколько дней работы – и она будет готова для выставки. Не теряя времени, я переговорил с моим учителем, и тот согласился дать оценку моей работе. Таким образом, в одно прекрасное майское утро в моей мастерской собралась целая толпа, и настал час испытания. Учитель был украшен своей орденой ленточкой. Он явился в сопровождении двух моих сотоварищей-учеников, французов; оба были мои друзья, и оба теперь известные парижские скульпторы. Наш «капрал», как мы называли его, на этот раз отложил в сторону свои учительские манеры, которыми он так много выигрывал во мнении публики, и держался просто, по-провинциальному. Тут же, по особому моему просьбе, присутствовал и мой милый старый Ромнэй; кто его знал, тот понимал, что удовольствие тогда только будет полным, когда его разделяешь с Ромнэем, да и горе переносится куда легче, если Ромнэй тут – он сумеет утешить. Сборище дополнялось англичанином Майнером и братьями Стеннисами. Они оба были легкомысленными шотландцами. Конечно, присутствовал и неизбежный Джим, бледный как полотно и покрытый испариной от боязливого ожидания.

Полагаю, что и у меня, когда я снимал покрывало с «Гения Маскегона», вид был не лучше. Учитель с серьезным видом обошел статую, потом улыбнулся.

– Неплохо. Да, для начала неплохо.

Мы все вздохнули с облегчением, а Капрал Джон (в качестве самого способного студента из числа присутствующих) объяснил ему, что статуя предназначена для украшения общественного здания, своего рода префектуры.

– Как? Что? – вскричал он. – Это еще что такое? А... в Америке, – добавил он, когда ему были даны соответствующие разъяснения. – Ну, это дело другое. Отлично, отлично.

Теперь следовало получить от него похвальный отзыв, чтобы со следующей же почтой отослать его отцу, и это было сделано с удивительной ловкостью. Старик согласился написать этот отзыв, после чего я, по обычаю молодых художников, пригласил всех присутствующих отпраздновать этот знаменательный для меня день завтраком в ресторане, довольно приличном, так что и сам учитель не считал для себя оскорбительным отправиться туда.

Завтрак был заказан у Лавеню, куда не стыдно пригласить даже своего мэтра. Стол накрыли в саду, блюда я выбирал лично, а над картой вин мы устроили военный совет, что привело к превосходным результатам, и вскоре все уже разговаривало с большим воодушевлением и быстротой. Правда, когда произносились тосты, всем приходилось на несколько минут умолкать. Разумеется, мы выпили за здоровье мэтра, и он ответил короткой остроумной речью, полной изящных намеков на мое будущее и на будущее Соединенных Штатов; затем пили за мое здоровье; затем – за здоровье моего отца, о чем он был немедленно извещен каблогаммой. Подобное мотовство и экстравагантность чуть не доконали мэтра. Выбрав в поверенные Капрала Джона (очевидно, исходя из предположения, что он стал уже слишком хорошим художником, чтобы в нем могли сохраниться какие-либо американские черты, кроме имени), он излил свое негодующее изумление в одной

несколько раз повторенной фразе: «С'est barbare!»⁷. Помимо обмена формальными любезностями, мы разговаривали – разговаривали об искусстве, и разговаривали о нем так, как могут говорить только художники. Здесь, в Южных морях, мы чаще всего разговариваем о кораблях; в Латинском квартале мы обсуждали вопросы искусства – и с таким же постоянным интересом и, пожалуй, с таким же отсутствием результатов.

Довольно скоро мэтр ушел. Капрал Джон (который в какой-то мере уже сам был молодым мэтром) последовал за ним, после чего все простые смертные, разумеется, почувствовали большое облегчение. Остались только равные среди равных, бутылки заходили по кругу, беседа становилась все более и более оживленной. Мне кажется, я и сейчас слышу, как братья Стеннис произносят свои многословные тирады, как Дижон, мой толстый приятель-француз, сыплет остротами, столь же изящными, как он сам, а другой мой приятель, американец, перебивает говорящих фразами вроде: «Я нахожу, что в отношении тонкости Коро...» или: «для меня Коро – самый...» – после чего, исчерпав свой запас французских слов (он был не силен в этом языке), снова погружается в молчание. Однако он хотя бы понимал, о чем идет речь, что же касается Пинкертона, то шум, вино, солнечный свет, тень листвы и экзотическое удовольствие принимать участие в иностранной пирушке были для него единственным развлечением.

Мы сели за стол около половины двенадцатого, а примерно около двух, когда зашел спор о каких-то тонкостях и в качестве примера была названа какая-то картина, мы решили отправиться в Лувр. Я уплатил по счету, и несколько минут спустя мы всей толпой уже шли по улице Ренн. Погода стояла жаркая, и Париж сверкал тем ослепляющим блеском, который очень приятен, когда у вас хорошее настроение, и действует угнетающе, когда на душе грустно. Вино пело у меня в ушах и озаряло все вокруг. Картины, которые мы рассматривали, когда, громко переговариваясь, проходили по галереям, полным бессмертных творений, кажутся мне и теперь прекраснейшими, какие мне только доводилось видеть, а мнения, которыми мы обменивались, казались нам тогда необыкновенно тонкими, глубокомысленными и остроумными.

Но когда мы вышли из музея, наша компания распалась из-за различия наших национальных обычаев. Дижон предложил отправиться в кафе и запить события дня пивом; старшего Стенниса эта мысль возмутила, и он потребовал, чтобы мы поехали за город, если возможно – в лес, и совершили длинную прогулку. К его мнению немедленно присоединились все англичане и американцы, и даже мне, человеку, над которым часто смеялись за его пристрастие к сидячей жизни, мысль о деревенском воздухе и тишине показалась неотразимо соблазнительной. По наведении справок выяснилось, что мы можем успеть на скорый поезд до Фонтенбло, если сейчас же отправимся на вокзал. Не считая одежды, у нас с собой не было никаких «личных вещей» – термин изысканный, но довольно смутный, – и кое-кто из нашей компании предложил все-таки заехать за ними домой. Но братья Стеннис принялись издеваться над нашей изнеженностью. Оказалось, что они неделю назад приехали из Лондона, захватив с собой только пальто и зубные щетки. Отсутствие багажа – вот тайна жизни. Несколько дорогостоящая, разумеется, поскольку каждый раз, когда вам нужно причесаться, приходится платить парикмахеру, и каждый раз, когда нужно сменить белье, приходится покупать новую рубашку, а старую выбрасывать; однако можно пойти на любые жертвы (доказывали братья), только бы не стать рабом чемоданов. «Человеку необходимо порвать все материальные путы; только тогда он может считать себя взрослым, – заявили они, – а пока вы чем-нибудь связаны – домом, зонтиком, саквояжем, – вы все еще не вышли из пеленок». Эта теория покорила большинство из нас. Правда, оба француза, презрительно посмеиваясь, отправились пить свое пиво, а Ромнэй, слишком бедный, чтобы

⁷ «Какое варварство!» (*фр.*).

позволить себе такую поездку за собственный счет, и слишком гордый, чтобы прибегнуть к займу, незаметно стушевался. Остальная компания влезла в извозчичью карету и принялась погонять лошадь (как это обычно бывает), предложив чаевые кучеру, так что мы успели на поезд за минуту до его отхода и полчаса спустя уже вдыхали благодатный лесной воздух, направляясь по холмистой дороге из Фонтенбло в Барбизон. Те из нас, кто шагал впереди, покрыли это расстояние за пятьдесят одну с половиной минуту, установив рекорд, ставший легендарным в анналах англосаксонской колонии Латинского квартала, но вас, вероятно, не удивит, что я сильно от них отстал. Майнер, склонный к философии британец, составил мне компанию, и, пока мы медленно шли вперед, великолепный закат, лиловатые тени сумерек, упоительный аромат леса и царившая в нем торжественная тишина настроили меня на молчаливый лад, и мое молчание сообщалось моему спутнику. Помню, что когда он наконец заговорил, то я словно встрепенулся от глубокой задумчивости:

– Додд, как бы счастлив был ваш отец, если бы мог быть здесь сегодня... он, кажется, превосходный отец, отец, каких мало, если не ошибаюсь!

Я подтвердил его предположение.

– Почему же он не приедет сюда повидать вас? – спросил он.

Я стал излагать ему все возможные основания и причины, но он, по-видимому, не придавал им большой цены.

– А вы когда-нибудь просили его приехать? – спросил он меня, заглянув мне прямо в глаза.

Я покраснел. Нет, я не уговаривал его приехать, я даже ни разу не попросил его навещать меня. Я гордился им, гордился его красивым мужественным лицом, его мягкостью и добротой, его умением радоваться чужому счастью, а также (если хотите, это была уже не гордость, а чванство) его богатством и щедростью. И все же для него не было места в моей парижской жизни, которая не пришлась бы ему по вкусу. Я боялся насмешек над его наивными высказываниями об искусстве; я внушал себе – и отчасти верил этому, – что он не хочет приезжать; мне казалось (как кажется и сейчас), что счастлив он мог быть только в Масконе. Короче говоря, у меня была тысяча веских и легковесных объяснений, ни одно из которых ни на йоту не меняло того факта, что он ждал только моего приглашения, чтобы приехать, – и я это знал.

– Спасибо, Майнер, – сказал я. – Вы даже лучше, чем я о вас думал. Сегодня же напишу ему.

– Ну, вы сами вовсе уж не так плохи, – возразил Майнер с более чем обычной шутливостью, но (за что я был ему очень благодарен) без обычной иронии.

Это были счастливые дни. Уже на следующий день мы вдвоем с Пинкертоном начали колесить по улицам Парижа, присматривая для моей студии приличное помещение, закупая всевозможные редкости и древности для обстановки, причем я невольно замечал, что мой приятель если не знаток и не ценитель всех этих редкостей и произведений искусства, то во всяком случае очень знающий свое дело эксперт. Он превосходно знал всех торгующих этими редкостями, знал настоящую цену и стоимость каждой вещи и, как я узнал случайно, тратил громадные деньги на приобретение картин и разных редкостей для Соединенных Штатов. Все эти прекрасные вещи сами по себе не восхищали его, но он испытывал самую настоящую радость, сознавая, что он лучше другого сумеет купить и продать их.

Между тем я ждал ответа от отца. Прошло немало времени, а письма от него все не было. Наконец я получил очень длинное письмо, полное отчаяния, раскаяния, сожалений, утешений, в которых трудно было даже разобраться, но из которого я понял, что отец потерял все свое состояние, что он остался без гроша и притом совершенно болен, и что я не могу рассчитывать не только на получение десяти тысяч долларов, но даже и той сравнительно скромной суммы, которую постоянно получал от него на жизнь в прекрасном Париже.

Удар был неожиданный и жестокий, но я с честью вышел из этого тяжелого положения. Я продал все свои редкости – вернее, я попросил сделать это Пинкертона, а он сумел продать их не менее выгодно, чем в свое время купить, так что я на этом почти ничего не потерял. Полученная сумма вместе с оставшимися у меня деньгами составила пять тысяч франков. Пятьсот из них я оставил себе на необходимые расходы, а остальное еще до истечения недели послал отцу в Маскегон, где они и были получены – как раз вовремя, чтобы оплатить его похороны.

Старик не вынес очередного удара судьбы, не смог пережить своего разорения. Он слишком долго вел жизнь беззаботную и расточительную, чтобы перенести такую перемену. Я, пожалуй, был даже рад, что ему не пришлось жить жизнью бедняка, хотя и горевал о том, что лишился такого любящего отца и настоящего друга, каким он для меня был. За себя я горевал, но за отца радовался. Я сказал, что горевал за себя... Кто знает, может быть, в то самое время тысячи людей тоже горевали по причинам гораздо более ничтожным. Я же потерял отца, лишился средств к существованию. Все мое богатство, считая и то, что мне пришло из Маскегона, едва ли превысит тысячу франков, да еще к довершению моей беды контракт на поставку статуй перейдет в другие руки. А у нового контрагента был свой собственный сын или, быть может, племянник, и мне с надлежащими соболезнованиями было дано понять, чтобы я искал другой рынок для моего товара.

Тем временем я переселился в свою студию, где, ложась спать на походной складной кровати, видел пред собою эту теперь бесполезную каменную глыбу «Гения Маскегона», эту статую, созданную для того, чтобы царить под золоченым куполом родного Капитолия, которая теперь нигде не найдет себе места. Что могло ожидать ее впереди и что ожидало самого ее творца? Этот вопрос мы часто обсуждали с Пинкертоном. По его мнению, я прежде всего должен был отказаться от своего призвания, «просто взять и бросить», говорил он, и ехать вместе с ним на родину и там всей душой погрузиться в дела.

– Поедем вместе домой и там всей душой уйдем в дела. У меня есть деньги, у вас образование. «Додд и Пинкертона»! Лучшего сочетания имен для объявлений я и не видывал. А вы себе представить не можете, Лауден, как много значит имя!

Я лично держался того мнения, что скульптор должен обладать одним из трех достоинств: капиталом, значением или же энергией, но не менее как адской. Два первых шанса у меня теперь были утрачены, а к третьему у меня никогда не было ни малейшего позыва. Поэтому у меня теперь и обозначилось малодушие (а кто знает, пожалуй, и мужество), побуждавшее меня повернуться спиной к моей карьере, хотя и не бежать от нее. Я говорил Пинкертону, что, как ни малы были мои шансы на успех по скульптурной части, но в коммерческих делах они могут оказаться еще слабее, и что к ним-то я уже совсем не чувствую ни склонности, ни способности. Но об этом он рассуждал так же, как покойный отец.

– Этого не может быть, – возражал он. – Не мог же ты находиться в самой гуще подобной жизни и не почувствовать ее очарования. У тебя для этого слишком поэтичная душа! Нет, Лауден, ты меня просто бесишь. По-твоему, какая-нибудь вечерняя заря должна потрясать человека, но он не почувствует интереса к месту, где идет борьба за богатство, где состояния наживаются и теряются за один день; по-твоему, он останется равнодушным к карьере, которая требует, чтобы он изучил жизнь как свои пять пальцев, умел выискать самую маленькую щелку, чтобы запустить в нее лапу и извлечь доллар, и стоял бы посреди всего этого вихря – одной ногой на банкротстве, а другой – на взятом займе доллара, – и загребал бы деньги лопатой наперекор судьбе и счастью?

Этой биржевой романтике я противопоставлял романтику (она же добродетель) искусства, напоминая ему о людях, упорно сохранявших верность музам, несмотря на все тяготы, с которыми эта верность связана, начиная от Милле и кончая нашими многочисленными приятелями и знакомыми, которые избрали именно этот приятный горный путь по жизни

и теперь мужественно пробирались по скалам и колючим зарослям, без гроша в кармане, но полные надежд.

– Ты никогда не сумеешь понять меня, Пинкертон, – говорил я. – Для тебя результат твоих трудов – это нечто реальное, осязаемое, а настоящий художник живет своею внутренней жизнью, живет тем, что он считает своим призванием. Результат всегда ошибка; взор артиста углублен внутрь; он живет ради идейного образа. Взгляни на Ромнэя. Вот это настоящая артистическая натура. У него нет ни копейки, а предложите ему завтра командование армией или президентство в Соединенных Штатах: он не примет предложения, ты это и сам хорошо знаешь!

– Да, откажется! – восклицал Пинкертон, ероша волосы. – Да, но я не могу понять, почему мне нельзя встать на его точку зрения, быть может, потому, что я не получил в молодости надлежащего воспитания. Кроме того, я придерживаюсь мнения, что каждый человек обязан умереть не ранее, чем он составит себе крупное состояние!

– К чему? К чему ему состояние?

– К чему, я не могу сказать, но это все равно, как если бы я спросил: к чему быть скульптором? Я и сам охотно стал бы заниматься скульптурой, почему же нет, но не могу понять, почему ты, к примеру, не можешь быть не кем иным, как только скульптором. Это упрямство представляется мне как бы излишней узостью натуры!

Такого рода беседы происходили между нами в последнее время довольно часто. Наконец, Пинкертон, по-видимому, понял, что меня не переубедить, что я намерен остаться скульптором вопреки всему, и как-то сразу перестал меня уговаривать, перестал вообще возвращаться к этому предмету, а вслед за тем объявил, что он здесь торчит даром и что ему необходимо вернуться на родину. Без сомнения, он уже давно уехал бы в Америку, если бы не я и если бы не надежда, что я отправлюсь вместе с ним. Не знаю почему, но наши отношения вдруг как-то изменились, мы точно охладели друг к другу. Его решение об отъезде стало для меня чрезвычайно обидным, да и сам он как будто испытывал некое трудноопределимое чувство – не то раскаяния, не то вины.

В день отъезда он позвал меня обедать в ресторан, который я прежде часто посещал, но перестал посещать из-за нынешней ограниченности моих денежных средств. Ему, казалось, было очень не по себе. Я тоже был опечален и раздражен, и обед прошел молчаливо.

– Ну что ж, Лауден, – сказал он наконец, когда нам уже подали кофе и мы закурили свои трубки, и я видел, что ему стоило немалого усилия заговорить со мной, отчего-то в этот раз обращаясь ко мне на «вы». – Вы не можете себе представить, какую безграничную благодарность и привязанность я питаю к вам, сколь многим я вам обязан. Ваша дружба облагородила меня, сделала меня чище и лучше, оказала громадное влияние на мое умственное развитие, на взгляды и образ мыслей. И теперь, когда нам настало время расстаться, я хочу сказать вам, что готов был бы умереть, как собака, ради вас!

Я попытался что-то сказать, но у меня ничего не вышло, да он и не дал мне договорить.

– Дайте мне высказать все до конца, Лауден, – воскликнул он, прерывая меня на полуслове. – Я не только привязан к вам как к другу – я уважаю вас за преданность вашему искусству. Я сам не могу подняться до такой высоты, но умею ценить это в других и хочу, чтобы вы довели свое служение искусству до желанной цели, хочу помочь вам в этом!

– Что это за глупости, Пинкертон!.. – остановил я его.

– Не лезьте сразу на стену, Лауден, это самая обычная коммерческая сделка, подобное делается по всему миру изо дня в день. Удивительно, но оно даже стало типичным. Посмотрите на большинство молодых художников здесь, в Париже, всюду та же история: с одной стороны – молодой художник, многообещающий талант, усидчивый работник, с другой – деловой человек, капиталист.

– Безумец, ведь вы же бедны как церковная крыса!.. – воскликнул я.

– Подождите, пока я положу свои щипцы в огонь! – сказал Пинкертон. – Я обязан стать богачом и повторяю: я твердо намерен приобрести капитал. Вот, на первое время возьмите эту небольшую сумму от друга, от брата – для меня дружба выше всего на свете, – тут всего сто франков. Первое время вы будете ежемесячно получать эту сумму, а после, когда дела, за которые я возьмусь, пойдут успешно, сумма эта, конечно, увеличится вдвое, втрое, до подходящей для вас цифры... А чтобы вы не видели в этом благодеяния, позвольте мне подыскать покупателя на вашу статую там, в Америке, и я буду считать это самым блестящим делом в своей жизни!

Долго пришлось мне убеждать и уговаривать моего друга; нам обоим это стоило немалого душевного волнения и горячих, убедительных слов, чтобы, не обидев его, отказаться окончательно от его денежной поддержки. Наконец мне удалось отклонить его предложение, согласившись взамен распить бутылку коллекционного вина. Наконец он прекратил спор, неожиданно сказав: «Ну ладно, с этим – все», – и больше уже к этой теме не возвращался, хотя мы провели вместе целый день, и я проводил его до дверей зала ожидания вокзала Сен-Лазар. У меня было страшно одиноко на душе – какой-то голос говорил мне, что я отверг и мудрый совет, и дружескую помощь. Когда же я возвращался домой по огромному, сияющему огнями городу, в первый раз я глядел на него как на врага.

V

Счастье изменяет мне

Нигде в целом мире голодать не легко, но, если не ошибаюсь, давно признано, что тяжелее всего голодать в Париже. В нем кипит такая веселая жизнь, он так похож на огромный ресторан с садом, его дома так красивы, театры так многочисленны, а экипажи мчатся так быстро, что человек, измученный душевно и больной телесно, чувствует себя заброшенным и никому не нужным. Ему кажется, что он – единственная реальность в мире кошмаров. Весело болтающие посетители кафе, толпы у театральных подъездов, извозчицьи кареты, набитые по воскресным дням искателями дешевых удовольствий, витрины ювелирных магазинов – все эти привычные зрелища как-то особенно усугубляют и подчеркивают его собственное несчастье, нужду, одиночество. И в то же самое время, если он человек моего склада, ему служит утешением по-детски наивное тщеславие. Вот наконец настоящая жизнь, говорит он себе, наконец я стою с ней лицом к лицу: спасательный пояс, поддерживавший меня на поверхности океана, исчез, ничто не помогает мне в борьбе с волнами, от меня одного зависит, спасусь я или погибну, и теперь я на самом деле испытываю то, чем восторгался, читая о судьбе Лусто или Люсьена, Родольфа или Шокара.

Но, на мою беду, со мной приключилось несчастье как раз не в добрый час. Вообще займы между студентами и учениками различных художников в большом ходу. Многие могут жить только на них в течение нескольких лет. Займы эти, конечно, почти никогда не возвращаются, да никто и не рассчитывает на их возвращение. Но когда мне пришла надобность прибегнуть к этим спасительным займам, оказалось, что положительно не у кого занять. Большинство моих близких друзей и товарищей разъехались, другие сами были в такой крайности, что едва перебивались, день голодая, день обедая в самой плохой харчевне. Мне пришлось расстаться и с моей мастерской и, пользуясь любезностью товарища, работать в его студии, которую сам он оплачивал с грехом пополам. Не имея студии, я, конечно, не мог держать при себе столь громоздкую статую, как мой «Гений Маскегона», и принужден был расстаться с этим произведением за жалкую сумму в 30 франков. И этот плод моего вдохновения должен был украсить какой-то скромный загородный сад-ресторан, где по воскресным дням собираются погулять и повеселиться французские буржуа.

Ютился я у одной доброй старушки в каморке на чердаке, под самой крышей, и столовался в съестной лавке для извозчиков. В нее мне иногда случалось заходить и раньше, просто из любопытства, и помнится, что я ни разу не входил в нее без отвращения и не уходил без ощущения тошноты и гадливости, а теперь с каким нетерпением я считал часы, когда можно будет отправиться в эту отвратительную харчевню, с какою жадностью я поедал все, что мне подавали, и уходил довольный и почти счастливый! Договариваясь с хозяином, я намекнул, что ужина мне не потребуется, так как вечером я буду садиться за изысканно сервированный стол кого-нибудь из богатых знакомых. Но это было крайне опрометчиво с моей стороны. Моя выдумка, вполне правдоподобная, пока на мне был приличный костюм, стала казаться более чем сомнительной, когда рукава и лацканы моего сюртука обтрепались, а оторванные подметки башмаков начали звонко шлепать по полу трактира. Кроме того, есть один раз в день было очень полезно для моего кошелька, но вредно для моего желудка. Раньше я частенько заходил в этот трактир из романтических побуждений – чтобы познакомиться с жизнью студентов, менее богатых, чем я. И каждый раз я входил туда с отвращением, а выходил, испытывая тошноту. Мне было странно, что теперь я сажусь тут за столик с нетерпением, встаю из-за него довольный и принимаюсь считать часы, которые отделяют меня от возможности снова приняться за эти сомнительные яства. Но голод – великий вол-

шебник, а как только я истратил все свои деньги и не мог уже заморить червячка чашкой шоколада или куском хлеба, этот извозчий трактир остался единственным местом, где я кое-как подкреплял свои силы, если не считать редких, долго ожидаемых и долго хранимых в памяти неожиданных удач. Например, торговец расплачивался с Дижоном или кто-нибудь из старых друзей приезжал в Париж. Тогда меня приглашали на настоящий обед, и я производил заем в стиле Латинского квартала, после чего мне в течение двух недель хватало денег на табак и утреннюю чашку кофе.

Казалось бы, такое полуголодное существование должно было убить во мне гурмана. Однако в действительности все обстояло с точностью до наоборот: чем грубее пища, которую ест человек, тем больше он мечтает о деликатесах. Свои последние деньги – тридцать франков – я, ничтоже сумняшеся, истратил на один хороший обед, а оставаясь один, занимался преимущественно тем, что составлял меню воображаемых пиров.

Однажды счастье как будто снова улыбнулось мне: я получил крупный заказ от одного богатого американца. Это был щедрый и любезный господин; он угощал меня в течение нескольких дней прекрасными обедами в дорогих ресторанах, был очень обходителен и, оставив небольшой задаток, уехал из Парижа. Когда заказ был готов, я отослал бюст в Америку, но, увы, мой заказчик даже не сообщил мне о его получении. Этот удар совсем сразил меня, и, вероятно, я даже не попытался бы бороться за свои права, если бы не встал вопрос о чести моей родины. Ибо Дижон, воспользовавшись удобным случаем, по-европейски поспешил просветить меня (в первый раз) относительно американских нравов: по его словам, Соединенные Штаты были бандитским притоном, где нет и следа закона и порядка и где долги удаётся взыскивать только под дулом ружья. «Это известно всему миру, – заявил он, – только вы один, дружище Лауден, только вы один об этом не знаете. Совсем недавно в Цинциннати члены Верховного суда устроили поножовщину прямо в святилище правосудия. Прочтите-ка книгу одного из моих друзей «*Le Touriste dans le Far-West*»⁸: все эти факты изложены там на хорошем французском языке»

Денег я, таким образом, не получил, а время и материал потратил. Впоследствии я узнал, что мой заказчик умер на обратном пути из Европы в Америку, оставив после себя крайне запутанные дела.

Вскоре после этого отношение ко мне в извозчийем трактире стало еле заметно меняться, знаменуя новую фазу моих бедствий. В первый день я старался внушить себе, что мне это просто почудилось; на следующий я твердо убедился, что мое впечатление меня не обмануло; на третий, поддавшись панике, я не пошел в трактир и пропостился сорок восемь часов. Это был крайне безрассудный поступок, ибо должник, не являющийся в обычный час, только привлекает к себе больше внимания и рискует, что его заподозрят в намерении скрыться. Поэтому на четвертый день я все-таки отправился туда, трепеща в душе. Хозяин бросил на меня косой взгляд, официантки (его дочери) обслуживали меня кое-как и только презрительно фыркнули в ответ на мое преувеличенно веселое приветствие, и – что было красноречивее всего, – когда я потребовал сыр (который подавался всем обедающим), мне грубо ответили, что он весь вышел. Сомневаться не приходилось – приближалась катастрофа. Только тоненькая дощечка отделяла меня от полной нужды, и эта дощечка уже дрожала. Я провел бессонную ночь, а утром отправился в мастерскую Майнера. Я уже давно подумывал об этом шаге, но никак не мог на него решиться. Наше знакомство с Майнером было шапочным, и, хотя мне было известно, что этот англичанин богат, его поведение и его репутация заставляли предполагать, что он не терпит попрошаек. Все же я решил попытать счастья. Очень мне тяжело было решиться на этот шаг, но нужда к чему не принудит?!

⁸ «Путешественник на Дальнем Западе» (*фр.*).

Застал я его за работой в мастерской: он писал какую-то картину, время от времени переводя взгляд с холста на толстую нагую натурщицу, которая сидела в дальнем конце мастерской, терпеливо держа над головой согнутую руку. Поглядев на его простой суконный костюм, я смутился – хотя и скромный, но аккуратный и тщательно выутюженный, он являл слишком разительный контраст с моей собственной изношенной и грязной одеждой. Даже при самых благоприятных обстоятельствах мне было бы нелегко высказать свою просьбу, а теперь, стесняясь отрывать Майнера от работы, стесняясь присутствия голой дебелий женщины, сидевшей в нелепой и неудобной позе, я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова о деньгах. Снова и снова пытался я заговорить о своей просьбе, но снова и снова начинал расхваливать картину. Потом натурщица некоторое время отдыхала, взяв на себя ведение разговора, и тихим, расслабленным голосом рассказывала нам о процветающих делах своего мужа, о прискорбном легкомыслии своей сестры и гневе их отца – скопидама-крестьянина из окрестностей Шалона, и только когда она опять приняла требуемую позу, я опять откашлялся, собираясь приступить к делу, и опять сказал лишь какую-то банальность о картине. Но Майнер сам вывел меня из затруднения.

– Надеюсь, вы пришли сюда не затем, чтобы наговорить всю эту чушь? – сказал он.

– Нет, – ответил я, – я пришел занять у вас денег!

– Сколько мне помнится, мы никогда не были с вами особенно близки! – проговорил он, не глядя на меня и продолжая работать.

– Совершенно верно, я понял, что вы хотите этим сказать! – И я повернулся, чтобы уйти.

– Послушайте, Додд, вы, конечно, можете уйти, если хотите, но я советую вам повременить и выяснить все это дело!

– Что же еще можно добавить к тому, что уже было сказано? – спросил я.

– Послушайте, Додд, вам следовало бы научиться владеть собой, – ответил он. – Вы сами пришли ко мне, я вас не звал. Если вы думаете, что этот разговор мне приятен, вы ошибаетесь, а если вы полагаете, что я одолжу вам деньги, не узнав точно, как вы надеетесь их отдать, значит, вы считаете меня дураком. Кроме того, – добавил он, – подумайте, и вы поймете, что самое худшее осталось позади: вы уже высказали свою просьбу и имеете все основания ожидать, что я отвечу на нее отказом. Я не хочу обманывать вас ложной надеждой, но, может быть, вам все-таки будет полезно дать мне возможность взвесить положение вещей.

Вот так (я чуть было не написал «ободренный») я довольно сбивчиво рассказал ему о своих делах: о том, что я столуюсь в извозничьем трактире, но, судя по всему, там собираются отказать мне в кредите; что Дижон уступил мне угол своей мастерской, где я пытаюсь лепить эскизы фигур, украшающих часы и подсвечники, – Время с косой, Леду с лебедем, мушкетеров и прочее, – но ни одна из них вплоть до этой минуты еще никого не заинтересовала.

– Ну а за комнату у вас заплачено?

– О, за комнату у меня и не спрашивают, моя хозяйка – добрейшая старушка!

– Из этого еще не следует, что ее возможно обирать. Французы вообще щедро кредитуют друг друга, но нам, англосаксонцам, не следует злоупотреблять их доверчивостью, чтобы, задолжав сколько душе будет угодно, улизнуть за канал или, как вы, янки, за океан.

– Да я вовсе не намерен никуда уезжать!

– Конечно, – сказал он. – Хотя, пожалуй, именно это вам и следовало бы сделать. На мой взгляд, вы довольно безжалостны к владельцам извозничьих трактиров. По вашим же собственным словам выходит, что никакого просвета в вашей судьбе не предвидится, и, следовательно, чем дольше вы здесь пробудете, тем дороже это обойдется вашей милой и доброй квартирной хозяйке. Теперь выслушайте мое предложение: если вы согласитесь уехать,

я куплю вам билет до Нью-Йорка и оплачу оттуда проезд до этого... Маскегона (если я не путаю названия), где жил ваш отец, где, вероятно, у него остались друзья и где, без сомнения, вам удастся найти какое-нибудь занятие. Я не жду от вас благодарности – ведь вы, конечно, считаете меня свиньей; однако я попрошу вас вернуть мне эти деньги, как только вам представится такая возможность. Больше я для вас ничего сделать не могу. Другое дело, если бы я считал вас гением, Додд. Но я так не думаю и вам не советую.

– Об этом я вас, кажется, не спрашивал!

– Да, вы не спрашивали, – кивнул Майнер, тон его был все так же холоден и бесстрастен, – но я сказал вам это так, кстати, кроме того, явившись ко мне просить денег без всяких гарантий, вы позволили себе обратиться ко мне как бы на правах дружбы. Из этого следует, что я вправе отнестись к вам так. Но дело не в этом. Вопрос в том, согласны ли вы на мое предложение?

– Нет, очень вам благодарен, – ответил я. – У меня остался еще один выход.

– Очень хорошо, – ответил Майнер. – Однако взвесьте, честен ли он.

– Честен?.. Честен?.. – вскричал я. – По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?

– Не буду, если вам это не нравится, – ответил он.

– По-вашему, честность – это что-то вроде игры в жмурки. Я придерживаюсь другого мнения. Просто мы определяем это понятие по-разному.

После этого неприятного разговора, во время которого Майнер ни на минуту не прервал работы над картиной, я отправился в мастерскую к моему бывшему учителю. Это была моя последняя карта, и теперь я решил пойти с нее: я решил снять фрак джентльмена и заниматься отныне искусством в блузе рабочего.

– А-а, это наш маленький Додд! – воскликнул он, увидев меня, но в следующий за ним момент, заметив плачевное состояние моего костюма, разом изменил тон.

Я обратился к нему с просьбой принять меня на этот раз в качестве работника в его мастерскую.

– В качестве работника? Но я полагал, что ваш отец страшно богат!

Я объяснил ему, что лишился одновременно и отца, и его громадного состояния.

– У меня несравненно лучшие работники, чем вы, подбираются и ждут работы!

– Но вы раньше одобряли мою работу! – заметил я.

– Да, да, конечно, одобрял, я и не отрицаю, это было вполне хорошо для сына богача, но далеко не достаточно для бедного сироты. Кроме того, я полагал, что вы будете продолжать учиться, и что из вас вырабатается художник.

Таков был неутешительный ответ моего бывшего учителя. Я вышел от него совершенно разбитый; со вчерашнего дня я не ел ничего и не решался пойти в свою харчевню, зная, что мне сегодня все равно откажут в обеде. В те времена на одном из бульваров неподалеку от гробницы Наполеона стояла осененная жалким деревцем скамья, с которой открывался вид на грязную мостовую и на глухую стену. На эту-то скамью я и опустился, чтобы обдумать свое ужасное положение. Небо было затянуто сумрачными тучами, за три дня я ел только один раз, мои башмаки промокли насквозь, панталоны были заляпаны грязью. Окружающая обстановка, события последних дней и мое мрачное и унылое настроение прекрасно гармонировали между собой.

Я думал о двух людях, которые хвалили мою работу, пока я был богат и ни в чем не нуждался, а теперь, когда я бился в тисках нужды, заявили: «не гений» и «плохи для сироты», и один из них предложил мне, словно нищему иммигранту, оплатить билет до Нью-Йорка, а другой не пожелал взять меня тесальщиком камня – похвальная прямолинейность с голодным человеком! Сколько раз художники, которых долгое время никто не признавал, в конце концов получали возможность посмеяться над своими суровыми кри-

тиками! В каком возрасте обрел себя и прославился Коро? На кого в молодости сыпалось больше насмешек (и вполне справедливых), чем на Бальзака, которому я поклонялся? А если этих примеров мне было недостаточно, стоило только повернуть голову, посмотреть туда, где на фоне чернильных туч сверкал золотой купол Дома Инвалидов, и вспомнить историю того, кто под ним покоится, — от дней, когда над молодым лейтенантом артиллерии подтрунивали насмешливые девицы, окрестившие его Котом в сапогах, и до дней бесчисленных корон, и бесчисленных побед, и тысяч пушек, и многотысячной кавалерии, топтавшей дороги потрясенной Европы в восьмидесяти милях впереди Великой армии.



Вернуться на родину, сдаться, признать себя неудачником, честолюбивым неудачником – бенгальским огнем, от которого осталась только обгоревшая палочка! Чтобы я, Лауден Додд, который гордо отринул все другие средства к существованию, о котором возвестили в сент-джозефском «Геральде» как о великом патриоте и артисте, вернулся в свой родной Маскегон как попорченный товар и начал шататься по старым знакомым отца, снимая перед ними шляпу и прося их взять его к себе на службу подметать полы у них в конторе?! Нет, клянусь Наполеоном, нет! Я так и умру скульптором, а эти двое людей, отказавшие мне сегодня в помощи, еще будут завидовать моей славе или проливать горькие слезы запоздалого раскаяния над моим нищенским гробом.

Однако, хотя мужество меня не покинуло, я все-таки не знал, как и где раздобыть еду. Неподалеку, за грязной извозчицей стоянкой, на берегу широкой, залитой грязью мостовой, маня и пугая, виднелся мой трактир. Может быть, меня впустят туда, и мне удастся еще раз наполнить там свой желудок, но может быть, именно этот день окажется роковым, и я буду изгнан оттуда после вульгарного скандала. Попытаться все-таки, конечно, стоило, но за это утро моей гордости было нанесено слишком много тяжелых ударов, и я чувствовал, что предпочту голодную смерть возможности получить еще один. Я смело смотрел в будущее, но для настоящего у меня не хватало отваги; я смело шел на битву жизни, но для этого предварительного набег на трактир для извозчиков мне не хватало храбрости. Я продолжал сидеть на скамье неподалеку от места упокоения Наполеона и то погружался в дремоту, то словно начинал бредить, то терял способность соображать, то испытывал животное удовлетворение от возможности сидеть не двигаясь, то принимался с необычайной ясностью думать, планировать, вспоминать, рассказывать себе сказки о падающем с неба богатстве, жадно заказывать и пожирать воображаемые обеды и в конце концов, очевидно, уснул.

Было уже совсем темно, когда холодный душ дождя вернул меня к резкому ощущению голода. Я быстро вскочил на ноги. Одно мгновение я стоял как оглушенный, у меня в голове снова проснулись все мои рассуждения и грезы. Снова затуманил меня образ съестной лавочки, и меня потянуло туда, словно на веревке, и снова я одумался, вспомнив о грозящем там посрамлении.

«Qui dort dine!»⁹ – подумал я. И я колеблющимися шагами побрел к своему жилью по грязным улицам, в которых уже светились окна от зажженных ламп в лавочках, где чудились мне толпы обедающих.

– А, это вы, мсье Додд, – окликнул меня портье. – Для вас было заказное письмо, почтальон принесет его вам завтра опять!

– Заказное письмо?! – воскликнул я. – О, это мои деньги; послушайте, портье, не можете ли вы одолжить мне до завтра сто франков?

Ста франков у него не нашлось, но он принес мне все, что у него было в данный момент: три десятифранковых золотых и несколько серебряных франков.

Я небрежно сунул деньги в карман, еще минуту поболтал со швейцаром, медленно вышел из подъезда, а затем со всей быстротой, на какую были способны мои подкашивающиеся ноги, бросился за угол в кафе «Клюни». Французские официанты ловки и проворны, но на этот раз их проворство казалось мне недостаточным, и едва передо мной были поставлены бутылка вина и масло, как я, забыв о приличии, сразу наполнил свой стакан и набил рот. О восхитительный хлеб кафе «Клюни», о восхитительный первый стакан старого бургундского, теплой волной разлившийся по всему моему телу до промокших ног, о неопишуемая первая оливка, снятая с жаркого, – даже в мой смертный час, когда потускнеет светильник сознания, я буду помнить ваш дивный вкус! Дальнейшее течение обеда и весь остальной

⁹ «Кто спит, тот обедает» (фр.).

вечер скрыты в густом тумане – может быть, он был порожден парами бургундского, а может быть, явился результатом пресыщения после долгой голодовки.

Однако я отчетливо помню стыд и отчаяние, охватившие меня на следующее утро, когда я обдумал свой поступок: я обманул честного бедняка швейцара и более того – попросту сжег свои корабли, поставив под угрозу мое последнее убежище, мой чердак. Швейцар будет ждать, что я верну долг, платить мне нечем, начнется скандал, и я хорошо понимал, что виновнику этого скандала придется покинуть дом. «По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?» – в бешенстве кричал я Майнеру еще накануне. Ах, этот день накануне! День накануне Ватерлоо, день накануне всемирного потопа – накануне я продал кров над моей головой, мое будущее и мое самоуважение за обед в кафе «Клюни»!

В этот момент мне принесли вчерашнее заказное письмо. Оно было от Пинкертон из Сан-Франциско. Мой неизменный друг писал, что дела его идут хорошо, и мой друг вторично предлагает выплачивать мне стипендию, которую в связи с его упрочивавшимся финансовым положением он собирался увеличить до двухсот франков в месяц, а на случай, если я окажусь в стесненных обстоятельствах, в письмо был вложен чек на сорок долларов. Когда человек еще не изведal нужды, то в наш самостоятельный век он находит тысячи причин отказаться от посторонней помощи, но в такой момент жизни, в какой застало меня это письмо, думается, отказа не смог бы произнести никто. Так сделал и я. Едва только открыли банки, как я тотчас же пошел и получил по чеку. Отдав портье долг, я уплатил, сколько было возможно, квартирной хозяйке и оставил себе необходимую сумму на пропитание. И конечно, в тот же день отправил письмо Пинкертону.

Целых шесть месяцев влачил я жизнь жалкого пенсионера и жил за счет своего друга, все еще упорно веря в свой талант, в свое призвание, вкладывая в искусство всю свою душу. Работая как вол, я создал две крупных статуи в высоко-патриотическом духе – «Знаменосцы» и «Жанну д'Арк». Мне удалось выставить обе эти статуи в Салоне. Но и они не имели успеха, даже торговцы почему-то забраковали их, и по окончании выставки оба произведения были возвращены мне.

Тщеславие умирает нелегко. В некоторых случаях оно переживает самого человека, но примерно на шестом месяце, когда я был должен около двухсот долларов Пинкертону и еще сто различным людям в Париже, я проснулся как-то утром в страшно угнетенном настроении и обнаружил, что остался один – мое тщеславие за ночь испустило дух. Я не осмеливался глубже погрузиться в трясину; я перестал возлагать надежды на мои бедные творения; я наконец признал свое поражение и, усевшись в ночной рубашке на подоконник, откуда мне были видны верхушки деревьев на бульваре, и с удовольствием прислушиваясь к музыке просыпающегося города, написал письмо – мое прощание с Парижем, искусством, со всей моей прежней жизнью, со всей моей прежней сущностью.

«Сдаюсь, – писал я. – Как только получу следующий чек, поеду прямо на Дальний Запад, и там можешь делать со мной, что хочешь».

Следует сказать, что Пинкертон с самого начала, сам того не сознавая, всячески старался заставить меня приехать к нему: он описывал свое одиночество среди новых знакомых («ни один из которых не обладает такой высокой культурой»), изливался в таких горячих дружеских чувствах, что это меня смущало – ведь я не мог отплатить ему тем же, – жаловался, как трудно ему без помощника, и тут же принимался хвалить мою решимость и уговаривать меня остаться в Париже.

«Только помни, Лауден, – снова писал он и снова переходил на дружеское «ты», – что, если он тебе все-таки надоест, здесь тебя ждет большая работа – честная, трудная, приносящая хороший доход работа: ты будешь способствовать развитию ресурсов этого штата, пребывающего пока в первозданном состоянии. Конечно, мне незачем писать, как я буду рад, если мы станем заниматься этим вместе, плечом к плечу».

Вспоминая то время, я дивлюсь, как у меня вообще хватало духа противостоять этим призывам и упорно тратить деньги моего друга, хотя мне и было известно, что моя манера расходовать их ему не по душе. Во всяком случае, осознав свое положение, я осознал его полностью и решил не только следовать в будущем советам Пинкертон, но и возместить убытки, понесенные в прошлом из-за моего надменного упрямства. Я припомнил, что у меня еще остались кое-какие возможности, и решил посетить семейство Лауденов в древнем городе Эдинбурге.

И вот я, пользуясь не самым изящным выражением, наострил лыжи – поступок довольно неблагоприятный, но зато совершенный без особых затруднений. Поскольку у меня не было никаких вещей, которые стоило бы брать с собой, я покинул свое имущество без малейшего сожаления. Дижон унаследовал «Жанну д'Арк», «Знаменосца» и мушкетеров. Вместе с ним мы купили мне чемодан и кое-какие необходимые в дороге вещи, и тут же, у дверей магазина, расстались, так как свои последние часы в Париже я хотел провести в одиночестве. И вот, в одиночестве я заказал свой прощальный обед (гораздо более роскошный, чем позволяли мои финансы), в одиночестве купил билет на вокзале Сен-Лазар. В полнейшем одиночестве, хотя вагон был переполнен, смотрел я на залитую лунным светом Сену, усеянную маленькими островками, на шпили Руанского собора, на корабли в гавани Дьеппа. Когда первые лучи зари пробудили меня от беспокойного сна на палубе пакетбота, я с удовольствием встретил рассвет, с удовольствием смотрел, как из розовой дымки встают зеленые берега Англии. С восторгом вдыхал я соленый морской воздух – и тут вдруг вспомнил: я более не художник, я перестал быть самим собой, я расстался со всем, что мне было дорого, и возвращаюсь к тому, что всегда презирал, возвращаюсь рабом долгов и благодарности, безнадежным неудачником.

В Дьеппе я сел на пароход и на следующий же день прибыл в Англию. Но прежде чем отправиться в Эдинбург к деду и дяде Эдаму, я провел целый день в Лондоне. Присев к столу в самом отдаленном углу общего зала железнодорожного вокзала, я взял себе бумаги, перо и чернила и написал Пинкертону длинное письмо, в котором от души благодарил его за все, что он делал для меня, сожалел о своем прошлом поведении и высказал свои намерения в будущем.

До настоящего времени, – писал я, – вся моя жизнь была движима сплошным эгоизмом. Я был эгоистом и по отношению к отцу, и по отношению к моему другу; я пользовался их помощью и поддержкой и упорно отказывал им в единственном утешении, которого они просили у меня, в утешение моего присутствия подле них. Как только это письмо было написано и отправлено, я сразу же почувствовал себя как бы возрожденным.

VI

Еду на Дальний Запад

На следующее утро, успев к завтраку, я был уже у дяди и снова сидел среди его семьи за столом, как и три года тому назад, когда только что прибыл из Америки. Все было то же, что и тогда, только теперь ко мне относились, как мне показалось, с бóльшим уважением. С подобающей грустью была упомянута кончина моего отца, а потом вся семья поспешила заговорить на более веселую тему (о господи!) – о моих успехах. Им было так приятно услышать обо мне столько хорошего; я стал настоящей знаменитостью; а где сейчас находится эта прекрасная статуя Гения... ну, Гения какого-то места? «Вы ее правда не захватили с собой? Неужели?» – потряхивая кудрями, спросила самая кокетливая из моих кузин, словно предполагая, что я привез свое творение с собой и просто прячу его в кармане, как подарок ко дню рождения. Это семейство, не искушенное в тропических ураганах газетной чепухи Дальнего Запада, свято поверило «Санди Геральд» и болтовне бедняги Пинкертон. Трудно придумать другое обстоятельство, которое могло бы подействовать на меня столь же угнетающе, и до конца завтрака я вел себя как наказанный школьник.

Когда завтрак и семейные молитвы подошли к концу, я попросил разрешения побеседовать с дядей Эдамом «о состоянии моих дел». При этой зловещей фразе лицо моего почтенного родственника заметно вытянулось, а когда дедушка наконец расслышал, о чем я прошу (старик был глуховат), и выразил желание присутствовать при нашем разговоре, огорчение дяди Эдама совершенно явно сменилось раздражением. Однако все это внешне почти не проявилось, и, когда он с обычной угрюмой сердечностью выразил свое согласие, мы втроем перешли в библиотеку – весьма мрачное обрамление для предстоящего неприятного разговора. Дедушка набил табаком свою глиняную трубку и устроился курить рядом с холодным камином. Окна позади него были полуоткрыты, а шторы полуопущены, хотя утро было холодным и сумрачным – не могу описать, насколько не соответствовал он всей этой обстановке. Дядя Эдам занял свое место за письменным столом посередине. Ряды дорогих книг зловеще смотрели на меня, и я слышал, как в саду чирикают воробьи, а кокетливая кузина уже барабанит на рояле и оглашает дом заунывной песней в гостиную над моей головой.

В возможно кратких словах я изложил свои денежные обстоятельства, не вдаваясь в особые подробности, и закончил тем, что просил дядю вывести меня из затруднительного положения, дав мне возможность уплатить мой долг Пинкертону и воспользоваться предложенными мне занятиями в Соединенных Штатах, куда меня приглашает мой приятель.

– Было бы несравненно лучше, если бы ты с самого начала обратился ко мне, а не к моему приятелю, – сказал дядя. – Я, конечно, никогда не отвернулся бы от своего ближайшего родственника, сына моей покойной сестры. Но и в данный момент ты явился как нельзя более кстати, у меня как раз освободилось место бухгалтера в конторе, которое я и оставляю за тобой. Ты можешь считать себя счастливым, что все это так устроилось!

– Позвольте, дядя, я отнюдь не прошу вас устраивать мою дальнейшую жизнь или определять меня на место, – заметил я, – я вас прошу дать мне возможность уплатить мой долг Пинкертону и просуществовать первое время по прибытии моем в Соединенные Штаты, вот и все!

– Если бы я позволил себе быть грубым по отношению к тебе, то сказал бы, что нищие не могут быть разборчивы и должны принимать, что им дают, а что касается дальнейшего устройства твоей жизни... Ты уже пробовал устраивать ее сам и видишь, что из этого вышло. Поэтому ты теперь должен следовать совету тех, кто умнее тебя. Всю эту ахинею о твоём

приятеле, о котором я не имею никакого представления, и о тех занятиях, которые тебе предлагают в Америке, я и знать ничего не хочу. Здесь же, заняв то место, которое я готов предложить тебе, ты будешь получать восемнадцать шиллингов в неделю!

– Восемнадцать шиллингов в неделю! – воскликнул я. – Ну, это не такой уж и заработок!

– Эда-ам! – сказал мой дедушка.

– Мне крайне неприятно, что вам пришлось присутствовать при этом разговоре, – произнес дядя Эдам, с угодливым видом поворачиваясь к каменщику, – но ведь вы сами так захотели.

– Эда-ам! – повторил старик.

– Я слушаю вас, сударь, – сказал дядя.

Дедушка несколько секунд просидел молча, попыхивая трубкой, а затем сказал:

– Смотреть на тебя противно, Эдам!

Было заметно, что дядя обиделся.

– Мне очень грустно, если вы так думаете, – заметил он, – и тем более грустно, что вы сочли возможным сказать это в присутствии третьего лица.

– Оно, конечно, так, Эдам, – сухо отрезал старик, – да только мне на это почему-то наплевать. Вот что, малый, – продолжал он, обращаясь ко мне, – я твой дед, так ведь? А Эдама ты не слушай. Я присмотрю, чтобы тебя не обидели. Я ведь богат.

– Папа, – сказал дядя Эдам, – мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

Я встал и направился к дверям.

– Сиди, где сидел! – крикнул мой дед, приходя в ярость. – Если Эдаму хочется поговорить, пусть говорит. А все деньги здесь мои, и я заставляю, чтобы меня слушались!

После такого предисловия у дяди Эдама явно пропала охота говорить: ему дважды предлагалось «выложить, что у него на душе», но он угрюмо отмалчивался, причем должен сказать, что в эту минуту мне было его искренне жаль.

– Ты, братец мой, играешь сейчас весьма жалкую роль, мне просто стыдно за тебя! – проговорил старик, обращаясь к сыну.

Потом обернулся ко мне и несколько минут молча сверлил меня взглядом.

– Вот что, сынок моей Дженни, – сказал он наконец. – Я собираюсь поставить тебя на ноги. Твою мать я всегда любил больше, потому что с Эдамом каши не сварить. Да и ты сам мне нравишься, голова у тебя работает правильно, рассуждаешь ты, как прирожденный строитель, а кроме того, жил во Франции, а там, говорят, знают толк в штукатурке. А это – первое дело, особенно для потолков. Небось, по всей Шотландии не найдешь строителя, который больше меня пускал бы ее в ход. А хотел я сказать вот что: если с капиталом, который я тебе дам, ты займешься этим ремеслом, то сумеешь стать богаче меня. Ведь тебе полагается доля после моей смерти, а раз она понадобилась тебе теперь, ты по справедливости получишь чуток поменьше.

Дядя Эдам откашлялся.

– Вы очень щедры, папа, – сказал он, – и Лауден, конечно, это понимает. Вы поступаете, как сами выразились, по справедливости, но, с вашего разрешения, не лучше ли было бы оформить все это письменно?

Тлевшая между ними вражда чуть не вырвалась наружу при этих не вовремя сказанных словах. Каменщик быстро повернулся к сыну, оттопырив нижнюю губу, словно обезьяна. Несколько мгновений он глядел на него в злобном молчании, а потом кивнул:

– Зови Грегга!..

И мы в молчании стали ожидать прихода нотариуса. Наконец он появился – суровый человек в очках, но с довольно симпатичным лицом.

– А, Грегг! – воскликнул каменщик. – Ответьте-ка мне на один вопрос: какое отношение имеет Эдам к моему завещанию?

– Боюсь, я не совсем вас понял, – ответил нотариус с некоторой растерянностью.

– Какое он имеет к нему отношение? – повторил старик, ударяя кулаком по ручке своего кресла. – Чьи это деньги – мои или Эдама? Имеет он право вмешиваться?

– А, понимаю, – ответил мистер Грегг. – Разумеется, нет. Вступая в брак, ваша дочь и ваш сын получили определенную сумму и приняли ее по всем правилам закона. Вы, конечно, помните об этом, мистер Лауден?

– Так что, коли мне захочется, – произнес мой дед, отчеканивая каждое слово, – я могу оставить все свое имущество хоть Великому Моргалу? (Должно быть, он имел в виду Великого Могола.)

– Разумеется, – ответил Грегг с легкой улыбкой.

– Слышишь, Эдам? – спросил старик.

– Разрешите заметить, что мне ни к чему было это слышать, – ответил тот.

– Ну и ладно, – объявил дед. – Вы с сыном Дженни отправляйтесь погулять, а нам с Греггом надо обсудить наше небольшое дельце.

Очутившись в зале лицом к лицу с дядей, я выразил ему, как прискорбно для меня все случившееся.

– Дядя Эдам, я думаю, мне незачем говорить вам, как все это для меня тяжело.

– Да, мне очень грустно, что тебе пришлось увидеть своего деда в столь новом для тебя свете, – ответил этот необыкновенный человек. – Впрочем, пусть это тебя не расстраивает. Он обладает многими высокими достоинствами и оригинальным характером. Я твердо уверен, что он щедро тебя обеспечит.

Подражать его невозмутимости у меня не хватило сил. Я не мог долее оставаться в этом доме, ни даже обещать, что я в него вернусь. В результате мы договорились, что через час я зайду в контору нотариуса, которого (когда он выйдет из библиотеки) дядя Эдам предупредит об этом. Полагаю, трудно придумать более запутанное положение: могло показаться, что это мне нанесен тяжелый удар, а облаченный в непроницаемую броню Эдам – великодушный победитель, который не пожелал воспользоваться своим преимуществом.

Можно было не сомневаться, что какие-то деньги я получу, но сколько и на каких условиях, я должен был узнать только через час, а пока мне оставалось лишь размышлять об этом, бродя по широким пустынным улицам нового города, советуясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, любясь поучительными картинами в витрине магазина нот и возобновляя свое знакомство с эдинбургским восточным ветром.

В конторе поверенного мне был вручен чек на две тысячи фунтов стерлингов и маленький томик какого-то руководства для архитектурных работ, в котором особенно усердно превозносились достоинства портландского цемента. Присяжный поверенный моего деда оказался милейшим господином и после нескольких ничего не значащих слов, из которых я мог судить, как мило и просто он относился ко мне, я счел возможным спросить его совета относительно того, что мне теперь следует делать. Он настоятельно советовал вернуться в дом моего дяди, хотя бы только для того, чтобы совершить обычную прогулку с дедом, который иначе будет очень огорчен и обижен.

– На вечер же, – говорил он, – я дам вам возможность отказаться от обеда, предложив вам по-холостяцки отобедать со мной. Но прогулка с стариком положительно необходима: он хороший, добрый старик и сердечно любит вас! – закончил молодой юрист. – Что же касается вашего дядюшки, то с ним всякого рода деликатности, право, неуместны!

Я обещал последовать его совету.

Получив две тысячи фунтов, то есть пятьдесят тысяч франков, я мог бы вернуться в Париж к моему любимому искусству и жить в бережливом Латинском квартале, как мил-

лионер. Кажется, у меня хватило совести порадоваться, что я отослал уже упоминавшееся лондонское письмо, однако я ясно помню, как все худшее во мне заставляло меня горько каяться, что я слишком поспешил с его отсылкой. Тем не менее, несмотря на противоречивость овладевших мною чувств, одно было твердо и несомненно: раз письмо отослано, я обязан ехать в Америку. И вот мои деньги были разделены на две неравные части – под первую мистер Грегг выдал мне аккредитив на имя Дижона, чтобы тот мог заплатить мои парижские долги, а на вторую, поскольку у меня была кое-какая наличность на ближайшие расходы, он вручил мне чек на банк в Сан-Франциско.

Весьма приятно отобедав со славным парнем поверенным, я совершил длинную прогулку с дедом. Тот, к великому моему удивлению, на этот раз не повел меня любоваться творениями своих старых рук, а, повинаясь естественному и трогательному порыву, решил показать мне вечное жилище, избранное им для своего последнего упокоения. Оно находилось на кладбище, которое благодаря какой-то странной случайности оказалось внутри тюремного вала и было к тому же расположено на самом краю утеса, усеянного старыми могильными плитами и надгробиями и покрытого зеленой травой и плющом. Восточный ветер (показавшийся мне слишком резким и холодным для старика) заставлял непрерывно трепетать ветви деревьев, и неяркое солнце шотландского лета рисовало на земле их пляшущие тени.

Вечером того же дня я уехал из Эдинбурга и, когда снова вышел на берег после долгого, но в общем довольно приятного путешествия, когда вступил вновь в свой родной Маскегон, он показался мне и чужим, и мертвым, произведя чрезвычайно удручающее впечатление.

Вскоре после кладбища в Эдинбурге мне пришлось снова нанести визит на кладбище, и гораздо более грустный. Над Маскегоном уже возвышался одетый в леса купол нового капитолия. Я приехал под вечер. Моросил дождь, и, проходя по широким улицам, самые названия которых были мне незнакомы, где мимо, звеня, проносились ряды конок, над головой сплетались сотни телеграфных и телефонных проводов, а по сторонам вздымались громады ярко окрашенных и все же угрюмых зданий, я с тоской вспоминал улицу Расина, и даже мысль об извозчике в трактире вызвала слезы на моих глазах. За время моего отсутствия этот скучный город так разросся – можно даже сказать, раздулся, – что мне то и дело приходилось спрашивать дорогу у прохожих, и даже кладбище оказалось с иголки новым. Однако смерть не дремала, и могил там было уже много. Я бродил под дождем среди пышных и безвкусных склепов миллионеров и скромных черных крестов над могилами рабочих-иммигрантов, пока случайность – а может быть, инстинкт – не привела меня к последнему месту упокоения моего отца. Памятник над ним был воздвигнут, как я уже знал, «его восторженными почитателями». Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы создать суждение об их художественном вкусе, и, без труда представив, каким должен быть их литературный вкус, я остерегся подойти ближе к монументу и прочесть надпись. Однако имя «Джеймс К. Додд» было вырезано крупными буквами и сразу бросилось в глаза. Какая странная вещь имя, подумал я, как оно прилипает к человеку, представляет его в неверном свете, а затем переживает его. И тут с горькой улыбкой я вспомнил, что не знаю – и теперь никогда не узнаю, – какое слово скрывается за этим «К». Кинг, Килтер, Кей, Кайзер – перебирал я наугад имена и, наконец, переиначив «Герберта» в «Керберта», чуть не рассмеялся вслух. Никогда еще я так не ребячился – наверное, потому, что (хотя все мои чувства, казалось, омертвели) никогда еще я не был так глубоко потрясен. Но после того как мои нервы сыграли со мной такую шутку, я, испытывая глубочайшее раскаяние, поспешил удалиться с кладбища.

Как бы исполняя долг по отношению к памяти отца, я посетил одного за другим его друзей, но и здесь мне казалось, что я встречаю то же кладбище, как и повсюду. Все господа из приличия заговаривали о покойном, но по всему было ясно, что память о нем совер-

шенно исчезла, что стоит мне только повернуть спину, как никто из них и не вспомнит о нем. Меня отец любил всей душой, а я оставил его одного, одинокого и чужого среди этих бессердечных, бездушных людей, оставил его жить и бороться, и умирать среди них, и вернулся только тогда, когда он был уже схоронен и забыт. Чувство жгучего раскаяния овладело мной; при этом мне вспомнилось, что есть еще и другая душа, которая любит меня и ждет меня, и верит в меня, это – Джим Пинкертон. Я вдруг почувствовал, что не вправе дважды повторить тот же грех, ту же роковую ошибку и по отношению к нему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.